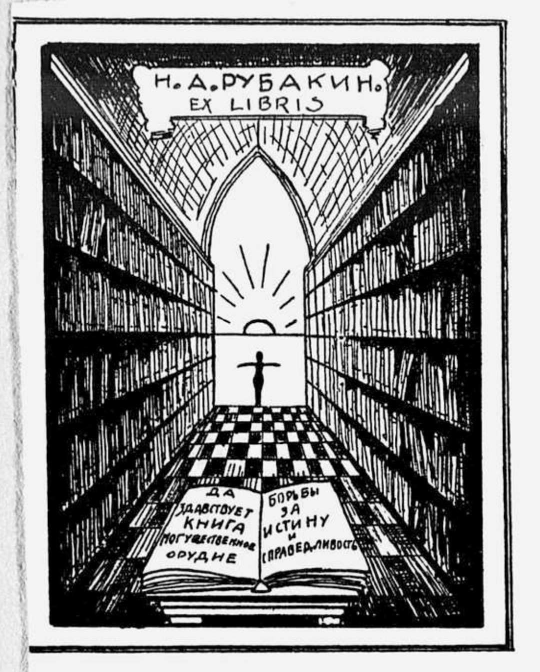
ЛЕВ ДЕЙЧ

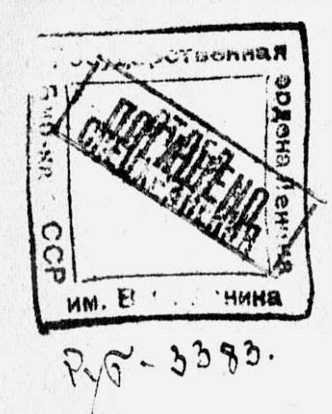
ЗА ПОЛВЕКА

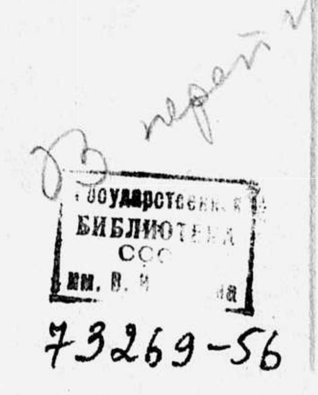
ТОМ ПЕРВЫЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГРАНИ» БЕРЛИН
1923

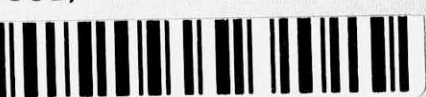






ТИПОГРАФИЯ МАКС ШМЕРЗОВ, КИРХГАЙН Н.-Л.





Предисловие к первому изданию.

Урывками, то об одном, то о другом, я, как известно, в течение многих лет помещал в разных изданиях отдельные, совершенно не связанные один с другим, очерки из нашего революционного прошлого. В них, вследствие этого, естественно, являлись, с одной стороны, краткие упоминания, а то и полное умалчивание о многих важных событиях, происходивших в мое время, или даже совершившихся при том или ином личном моем участии; с другой же стороны, в этих очерках имеются неизбежные, при таком несистематическом, случайном писании своих воспоминаний, частые повторения.

На эти дефекты не раз указывали мне некоторые доброжелатели мои, причем настойчиво советовали, не откладывая, вплотную приняться за последовательное, хронологическое изложение всего мною пережитого, как это давно сделали П. Кропоткин, В. Дебогорий-Мокриевич, Н. Морозов и др. Но последовать этому совету мне мешала моя более или менее тесная связь с текущей жизнью. И никому из нас, — ни мне,

ни моим приятелям, — не могло, конечно, тогда притти на мысль, что для исполнения этой работы, требующей почти полного отвлечения от современных событий, «благоприятный» момент для меня, старого солдата революции, втечение полувека ее ждавшего, наступит в самый разгар ее!

Вынужденный сложившимися политическими обстоятельствами, после переворота 25 октября 1917 г., стать в стороне от практических дел, я вскоре после этого получил возможность осуществить давнюю мечту, казавшуюся нам, революционерам, втечение многих десятилетий совершенно несбыточной: летом 1918 г. я начал работать в Историко-Революционном Архиве, т.-е. собственными глазами стал читать документы, хранившиеся в знаменитых царских учреждениях — в Третьем Отделении и в Департаменте Полиции. Благодаря этому, к моим личным воспоминаниям и к тому, что мне было известно из литературы, присоединился еще новый источник для ознакомления с нашим революционным прошлым — сообщения о нас тайной полиции. Тогда я решил взяться за систематическое изложение всего виденного, слышанного и узнанного мною из разных источников, из архивных документов и пр.

План моей работы, — как показывает одно уже заглавие, — обширен: начав, по примеру других «мемуаристов», с воспоминаний детства, я желал бы довести свои «ремарки», как выражался старый кн. Болконский в «Войне и мире», до наших дней. Но удастся ли мне это? При условиях, связанных с переживаемой нами страшной эпохой, когда приходится терпеть массу всякого рода лишений, предпринятая мною работа потребует во много раз больше времени для ее завершения, чем если бы я взялся за нее в другой период. Например, из-за ограниченного питания, недостаточного освещения, отопления и т. п. причин, вместо нескольких месяцев, настоящий том взял у меня целых полтора года.

Обращаясь к содержанию предпринятой мною работы, прежде всего замечу, что, хотя я и не задаюсь целью дать сколько-нибудь исчерпывающее изложение всего происшедшего за полвека, так как тогда это была бы история, а не «ремарки», — все же я надеюсь, что со всеми наиболее крупными событиями в революционном мире за этот период совершенно неосведомленный читатель сможет в достаточной степени познакомиться по этим запискам. Но, главное, он поймет из них общую связь событий, узнает постепенный рост и развитие нашего революционного движения за целых пятьдесят лет. В этом отношении настоящий том является как бы введением, — он дает лишь завязку, устанавливает только вехи.

Лев Дейч.

9 июля 1920 г.

К заграничному изданию.

В «Предисловии» к русскому изданию я уже сообщил, как жизнь впроголодь, при низкой температуре в квартире и недостаточном освещении в течение безконечно длинных зимою вечеров в Петрогаде, заставила меня, вместо нескольких месяцев, писать первый том настоящих записок более полутора лет. Затем началась безконечная типографская волокита, в результате которой лишь через двадцать месяцев могла появиться, да и то только первая часть, «За полвека», между тем как более чем за год до того была мною сдана московскому кооперативному издательству «Задруга» рукопись второй и третьей частей... А в настоящее время, как слышно, само существование этого прекрасного издательства находится под угрозой быть ликвидированным.

В виду столь неблагоприятных условий для выпуска в России многотомного произведения, каким, по моим соображениям, должны оказаться настоящие мои записки, я охотно принял предложение существующего в Берлине русского книгоиздательства «Грани», в надежде, что здесь выпуск в свет описания пережитого мною за полвека не потребует особенно длинного периода времени.

В дополнение к вышедшей в России части, в настоящем издании присоединена мною еще обширная четвертая глава — «О южных бунтарях».

Лев Дейч.

Берлин, 22-го января 1923 г.

Почему я стал революционером.

I.

Наша няня, еще не очень старая, с симпатичными чертами лица, крестьянка великорусской губернии, попавшая какими-то судьбами к нам в Киев, в теплый весенний день повела меня и мою сестренку Соню гулять в большой фруктовый сад, примыкавший к занимаемому нами известному в городе дому наследников Шияновых, где были для нас, детей, устроены качели. Усадив нас по концам доски, она стала медленно ее раскачивать, приговаривая: «Крепче держитесь за веревку, деточки».

Мне тогда было пять лет с несколькими месяцами, сестре — четыре с половиной. Няню нашу мы очень любили, как за добрый приветливый нрав ее, так особенно и за рассказываемые ею нам чудные сказки, насколько теперь могу припомнить, вероятно, ее собственного творчества.

Повидимому, она также к нам привязалась, несмотря на то, что мы были «нехристи». Она

относилась к нам с нежностью и заботливостью, не проявляла нетерпения и раздражения, когда, раскапризничавшись, мы поднимали крик и плач. Ласками и обещаниями приятных нам вещей или сказок, она в таких случаях старалась нас успокоить. Помню, нравился мне также ее благозвучный, певучий великорусский говор на «о».

В церквах заблаговестили, что меня удивило, так как от няни я всегда заранее узнавал, какой праздник, а в тот день она ничего нам об этом не сказала. На мой вопрос, почему звонят, няня, продолжая левой рукой тихо раскачивать доску, а правой начав креститься, сообщила, что наступил великий праздник, так как «всему крестьянскому народу царь-батюшка даровал волю».

Долго, с умилением, утирая катившиеся из ее глаз слезы, рассказывала нам, маленьким еврейским детям, наша славная няня про жизнь «хрестьян у господ» да про волю, хотя мы тогда немногое могли понять. Но возможно, что этот ее рассказ, в связи с ее слезами и всей, вообще, обстановкой, о которой подробно сообщу ниже, явился первым толчком к развитию в моем характере отзывчивости и стремления облегчать тяжелую долю угнетенных и преследуемых.

Значительно рельефнее, чем освобождение крестьян, запечатлелось в моей памяти усмирение польского восстания 1863 г., как потому, что я был старше на два года, так и вследствие боль-

шей длительности этого события, к тому же оно сопровождалось многими яркими эпизодами.

Мы жили на Печерске, где, как известно, находится крепость. Поэтому, во время прогулок, — уже не с няней, а с гувернанткой, полькой, — нередко мы встречали партии закованных повстанцев, которых, под сильным конвоем, вели в казематы. Наша гувернантка, тщетно искавшая между арестованными близких ей сородичей, нередко обливалась слезами, что, понятно, и у нас вызывало к ним жалость.

Среди наших соседей были поляки, сочувствовавшие восстанию. По вечерам они иногда собирались у нас, где не только говорили между собою, а также с моим отцом и с гувернанткой, м-ль Массальской, на своем языке, но также решались, правда, при плотно закрытых окнах и ставнях, петь национальные гимны.

Помню, однажды, когда наши гости, под аккомпанимент игры гувернантки на фортепьяно, затянули «Еще Польша не сгинела», — вдруг на пороге зала появился полицейский чиновник. У всех от испуга вытянулись лица. И было от чего, так как в то ужасное время за такое тяжкое преступление могли бы здорово поплатиться хозяева и гости. По счастью, этот полицейский, бывший сам поляком, принявшим православие, хорошо знал как отца, так и всех у нас собравшихся, поэтому вместо составления, как полагалось, протокола, он ограничился напоминанием о строжайшем запрещении петь польские

гимны. Между прочим, с этим полицейским, лет 20 с чем-то спустя, судьба свела меня при оригинальнейших условиях, — в арестантской тюремной карете, везшей меня, под сильнейшим конвоем, на военный суд в Одессе [1]).

Помню также, какое грустное впечатление производил на меня вид заключенных повстанцев, выглядывавших из-за решоток, скучившись на окнах суровых, страшных казематов, когда мы с гувернанткой и другие гуляли вблизи крепостного вала. Впоследствии, когда я сам находился в тюрьмах и в крепости, мне нередко вспоминались эти польские узники и испытанные мною по этому поводу в детстве ощущения.

Тогда же всех нас крайне огорчил разнесшийся слух, что вполне подготовленная попытка заключенных к побегу из крепости не осуществилась из-за глупой случайности: однажды какая-то баба на ровном гладком месте вдруг провалилась в образовавшуюся под нею яму. Когда последнюю рассмотрели, то убедились, что то был подкоп, проведенный из крепости заключенными в ней повстанцами. Само собой разумеется, после этого начались строгости: положение арестованных сильно ухудшилось.

Конечно, не все происходившее и вызывавшее у взрослых слезы, тревоги и опасения было мне

[1]) Подробности см. в моей книге: «16 лет в Сибири», стр. 98. Изд. Н. Глаголева.

понятно. Прежде всего, я никак не мог постичь, почему «поляки взбунтовались». Когда же я от кого-то узнал, что они «захотели воли», то недоумевал, почему царь-батюшка «хрестьянам» дал ее, полякам не захотел.

На подобные вопросы, с которыми я обращался к гувернантке, м-ль Массальской, и к другим взрослым, я, понятно, получал уклончивые, а следовательно, неудовлетворявшие меня ответы, что еще более возбуждало мое любопытство.

Мои симпатии были, конечно, на стороне поляков, и эти детские впечатления, полагаю, не остались без значительного влияния на мое отношение к представителям этого угнетенного народа в течение дальнейшей моей жизни: всюду, куда ни забрасывала меня судьба, я всегда находил друзей и приятелей среди поляков.

Но еще ярче, чем указанные два исторические события, удержалось в моей памяти третье, происшедшее, когда мне минуло десять лет и меня собирались определить в гимназию.

Торопливо вошедшая к нам знакомая молодая дама-еврейка, еще не успев снять с плеч тальму, на ходу, взволнованным голосом произнесла: «Слыхали ужасную новость, — в царя стрелял какой-то злодей». Затем она стала шопотом передавать известные ей подробности о покушении Каракозова на Александра II и о «чудесном спасении царя мужичком Комиссаровым».

Это сообщение чрезвычайно встревожило и

огорчило моих родных, да и нас, детей, насколько, конечно, мы тогда могли понимать значение этого чрезвычайного политического события. Дело в том, что Александр II в ту пору был еще очень популярен среди моих единоплеменников, благодаря предоставленным им облегчениям, после жестокостей и изуверств, практиковавшихся в отношении евреев в царствование его отца, Николая I. Неудивительно, поэтому, что евреи, называвшие Александра «дер гитер кайзер» (добрый царь), искренно радовались его спасению от выстрела Каракозова и негодовали на последнего.

Хорошо помню также всевозможные рассказы и слухи, циркулировавшие в городе по поводу происходивших в разных местах арестов ни в чем неповинных людей. Результатом этих преследований была охватившая всех невероятная паника, а также открывшаяся у многих склонность к доносам. Страх быть замешанным у некоторых, совсем непричастных ни к какой политике, доходил прямо до комизма: даже близким, пользовавшимся полным их доверием лицам эти напуганные люди сообщали о самых безобидных вещах шопотом и под секретом.

Относительно я тогда уже многое понимал в «политике». Чтобы об'яснить, как это произошло в столь раннем возрасте у еврейского мальчика десяти лет, я должен, хотя бы вкратце, сообщить о моих родителях, следовательно, и об условиях моего воспитания.

II.

Мой дед со стороны отца прибыл в Россию из Австрии. Потому в Каменец-Подольске, где он поселился, его стали называть «дер Дейтч», а когда евреям при Николае I начали давать фамилии, то вместо Брейтман, как он назывался в Австрии, за ним укрепилась данная ему в Каменец-Подольске кличка. Передаю это сообщение о происхождении нашей фамилии со слов родных, не ручаясь за его точность.

Отец мой, купец первой гильдии, был для своего времени, — для 50-х и 60-ых гг. минувшего столетия, — крайне редким явлением не только среди своих косневших во всевозможных суевериях и предразсудках единоверцев, но также и между лицами его слоя, принадлежавшими к христианским нациям.

Кажется, самоучкой усвоил он русскую грамоту, что в ту пору полного невежества, вообще, среди представителей третьего сословия, а среди евреев в особенности, встречалось очень редко. Он вовсе не был религиозен, скорее мог быть причислен к свободомыслящим, но по деловым соображениям считал нужным исполнять, хотя далеко не все, религиозные обряды. Говорил отец без акцента и по внешности — большой окладистой бороде, костюму и пр. — походил на вполне культурного человека, скорее на великорусского или даже европейского коммерсанта. Знакомства он предпочтительно вел с хри-

стианами, чему, вероятно, содействовало то обстоятельство, что на Печерске евреи не имели права селиться, за исключением купцов 1-ой гильдии.

Со всякого рода начальством отец держал себя довольно независимо и в обращении со всеми был вежлив, корректен, прям, но временами, если задевали его честь, бывал до того вспыльчив, что совершенно терял равновесие и забывал меру. В такие моменты он был способен на самые крайние выходки, доходил чуть не до уголовных преступлений, грозивших ему судом. Поостывши, ему затем приходилось искупать приступы вспыльчивости денежными вознаграждениями, как лиц потерпевших от него, так и властей, чтобы потушено было начатое против него дело.

Занимался отец исключительно казенными подрядами, и в описываемое мною время, т. е. в первой половине 60-х г. г., доставлял все, что требовалось для огромного военного госпиталя на несколько тысяч больных, помещавшегося на Печерске. «Дело» это считалось большим и очень выгодным. Во время Крымской кампании, отец, как рассказывали, на подрядах же нажил большое состояние и считался богатым человеком.

Не получив сам систематического образования, он, однако, стремился воспитать нас, детей, которых было у него семеро, наилучшим, как он понимал, образом. Так, кроме гувернантки, о

которой я уже упоминал, у нас, меньших, был еще репетитор по общим предметам. Старшие же три сестры посещали гимназию и обучались музыке у лучшего в Киеве пианиста и пр.

При всяком поводе отец внушал нам, как важно быть образованными людьми, и на наше воспитание не жалел средств, пока обладал ими. Но, увы! Как все на свете не вечно, непрочными также оказались вскоре и «большие материальные средства», которыми, по мнению всех родных, знакомых и даже самой жены его, будто бы обладал отец.

Мать моя была чрезвычайно доброй, беспредельно преданной семье, женщиной, способной ради последней на самые крайние жертвы. В противоположность отцу, она была довольно религиозна, строго соблюдала все обряды, но, вместе с тем, безгранично веря в авторитет мужа, соглашалась, чтобы мы получили вполне «христианское воспитание».

Несмотря на полное незнакомство с русской литературой, а тем более, с историей, мать, по случайному стечению обстоятельств, оказала в некотором роде влияние на чрезвычайно раннее мое ознакомление с «политикой», о чем я уже выше упомянул. Дело в том, что она была уроженкой м. Тульчина, которое, как известно, в 20-х гг. минувшего столетия являлось центром Южного общества декабристов. Мать знала некоторые имена — Пестеля, Муравьева-Апостола, а также постигшую их судьбу. Не раз, по ве-

черам, за семейным столом, освещенным большой висячей лампой, она любила делиться своими воспоминаниями о жизни в Тульчине, и, между прочим, слышанными ею там рассказами о заговоре Пестеля и его товарищей. Меня и до сих пор удивляет, каким образом в памяти простой еврейки, не знавшей русской грамоты, живо удержались, хотя бы и не вполне верные, представления о столь отдаленном времени, когда она едва только могла появиться на свете. Ясно из этого, что заговор декабристов произвел чрезвычайно сильное впечатление на еврейское население м. Тульчина, и лица, близкие моей матери, долго спустя, после открытия этого заговора, рассказывали ей о нем.

Передавая взрослым членам своей семьи все известное ей о декабристах, мать решительно не считалась с присутствовавшими при этом и малолетними своими детьми, в полной, вероятно, уверенности, что они ничего не понимают из ее сообщений.

Не знаю, что из этого удержалось в памяти младших моих сестер, но относительно себя могу сказать, что хотя, действительно, многого из этих разговоров я не понимал, все же кое-что запомнил, а именно, что были генералы, полковники, князья, которые пошли войной против царя. Главным их начальником был полковник Пестель. Но царь его войско разбил, всех забрал в плен, а потом велел кого повесить, кого в Сибирь сослать.

Едва ли тогда многие русские дети моего возраста имели даже такие сведения о декабристах.

С тех отдаленных времен, всегда, когда мне приходилось читать о декабристах, в моей памяти тотчас воскресали рассказы о них моей матери.

В связи с приведенными крупнейшими событиями политического характера, на раннее мое развитие значительное влияние оказало то обстоятельство, что я рос среди пяти сестер, из которыхъ три были старше меня на пару-другую лет. Они вели между собою, а также с подругами и с занимавшимися их развитием молодыми людьми, — почти исключительно передовыми студентами, — разные беседы, к которым я внимательно прислушивался и навсегда запоминал.

Но едва ли не большую еще роль в моей судьбе сыграли часть города, а также и дом, в котором наша семья жила в течение пятнадцати лет, — с самого раннего моего детства, вплоть до отроческого возраста.

III.

Я уже упомянул, что мы жили на Печерске, где, как известно, находится лавра с знаменитыми пещерами, в которых хранятся мощи многих святых. С раннего детства водила меня туда няня, что, понятно, у меня, еврейского мальчика, не получившего никакого религиоз-

ного воспитания, вызывало массу недоумений, вопросов, а также сострадания, при виде многочисленных нищих и калек возле лавры. Но вместе с обилием непонятного и загадочного, Печерск заключал в себе много величественного и удивительно живописного, например, вид с крутого спуска на Днепр, Аскольдова могила и пр.

Другия впечатления и ощущения вызывал во мне упомянутый уже дом Шияновых, к слову, описанный Н. С. Лесковым, но еще в более раннюю эпоху, в конце сороковых годов (см. его очерк «Печерские антики», т. 45-й, изд. Маркса).

Этот дом с тремя флигелями занимал обширное пространство, окруженное с трех сторон: Большой Шияновской, Малой Шияновской улицами и Шияновским переулком; с четвертой стороны, куда примыкал большой фруктовый сад, расстилалась базарная площадь. Одно уже название улиц показывает, что владелец занимаемого нами дома был влиятельный человек.

Действительно, о старом Шиянове сообщали, что он был богатейшим помещиком, имевшим крупное польестье. Передавали, будто сам Николай I, приезжая в Киев, делал визит старому сановнику. О его независимом характере, поведении, а также жестокости в обращении с крепостными и о его чудачествах циркулировали бесконечные рассказы, смахивавшие на легенды, что, конечно, немало действовало на мое воображение.

Мы снимали дом с многочисленными его постройками за сравнительно незначительную плату, и от себя родители сдавали в наем флигеля. В них обитал самый разнообразный люд, начиная с военных и чиновников и кончая мещанами, ремесленниками и лицами без определенных занятий. Один наиболее обширный флигель, населенный настоящей голытьбой, состоял из многих отдельных комнат, в два ряда, с русскими печами. Как передавали, при крепостном праве, там помещалась дворня, а также собственный оркестр владельца. При мне там еще жили некоторые из бывших дворовых, много и охотно рассказывавшие о господствовавшем незадолго перед тем жестоком строе.

В обширном одноэтажном деревянном доме, на высоком каменном фундаменте, с маленьким мезонином, был ряд больших парадных комнат, уставленных старинной из красного дерева мебелью, сделанной крепостными мастерами владельца. Зз ними шло несколько небольших уютных комнат, выходивших окнами в сад и служивших спальнями.

Мне чрезвычайно нравились как дом с расположением комнат и их мебелью, так и флигеля, сад, дворы и постройки. От всего этого веяло стариной, таинственностью и особенной поэзией. Конечно, на это мое впечатление в сильной степени влияли, вероятно, рассказы бывших дворовых, ютившихся в указанном флигеле. Но и независимо от этих легенд, во всем мною выше

перечисленном даже и для человека, совершенно непосвященного в прошлое дома Шияновых, было много безконечно интересного и загадочного.

Нетрудно, поэтому, представить себе, как действовали на мое воображение эти живые памятники былого, если примем во внимание, что я любил читать старинные рассказы, а также, конечно, Майн-Рида, Купера и т. п. сочинения.

В запущенном, заросшем высокими кустарниками саду я, понятно, делал вид, что разыскиваю страшных разбойников или индейцев, а в самом доме строил предположения, что в нем происходило раньше.

Особенно привлекателен был мне мезонин. Весной туда доносился чудный аромат из сада, а также, по вечерам, бесконечные трели соловья, из года в год прилетавшего и устраивавшегося на одном из самых близких деревьев. Отрываясь от наиболее интересной повести, я по целым часам слушал его, боясь шевельнуться. Ни с чем не могу сравнить это наслаждение.

С мезонином, согласно преданию, к тому же связан был таинственный роман, герой которого не только был еще в живых, но являлся другом нашей семьи и любимцем всех нас, детей. Я имею в виду описанного Н. С. Лесковым в очерке «Печерские антики» старого полковника Кесаря Степановича Берлинского. Он приходился нашим ближайшим соседом и навещал

нас, за редким исключением, каждый вечер, чему все члены нашей семьи были очень рады, так как, кроме олицетворения доброты, приветливости и внимания, старый полковник являлся живой историей не только дома Шияновых, Печерска и Киева, но и всей России. Лесков нисколько не сгустил красок, описав этого «печерского антика». Много на своем веку видел я всевозможных чудаков, но такого оригинала, каким был Кесарь Степанович, никогда не встречал я. Отсылая интересующихся им к очерку Лескова, я сообщу здесь, что помню о его романе, конечно, нисколько не ручаясь за точность.

Будучи молодым и бедным офицером, Берлинский как-то познакомился с дочерью богатого помещика Шиянова. Молодые люди полюбили друг друга, а так как на согласие отца на их брак не было у них надежды, то они решили обвенчаться тайком. Для осуществления этого плана отважному офицеру, несмотря на большую опасность, которой он и любимая им девушка подвергались, пришлось похитить ее из мезонина, через окно, выходившее в сад, путем приставленной к нему лестницы.

Долго затем бедствовала молодая чета, число сыновей у которой быстро росло. Когда у Берлинского оказалось целых десять годных на военную службу молодцев, на помощь в воспитании их пришел Николай I. Впоследствии сжалился и старый Шиянов, наделивший не-

послушную дочь свою одним из флигелей, примыкавших к его дому.

Когда моя семья познакомилась с полковником Берлинским, из одиннадцати его сыновей в живых оказался только один, — единственный, самый младший, — горбатый, застенчивый, нигде решительно не показывавшийся. Жена полковника также давно умерла. Сам он, несмотря на чрезвычайно преклонный свой возраст, был еще довольно бодр, на улице он всегда был окружен несколькими старыми породистыми собаками, еле волочившими уже ноги, в которых души не чаял.

Нас, детей, Кесарь Степанович также любил и часто баловал лакомствами, которыми наполнены были его карманы. Но еще более, чем конфеты и другие сласти, я ценил его бесконечные рассказы, в которых быль с небылицей тесно переплетались, в чем я не мог тогда разобраться. Он умер, когда я уже поступил в гимназию, и мы все искренно пожалели этого оригинальнейшего «антика».

Кроме полковника Берлинского, во флигелях и в домах, соседних с нашими, было немало и других интересных типов, от которых я имел полную возможность многое узнать, почерпнуть; жизнь этих людей была у всех на виду, никто из них не скрывал ничего от глаз и ушей остальных; скорее, наоборот: как радость, так и горе немедленно сообщались каждому.

Непосредственное знакомство с разнообразным

населением шияновских флигелей и улиц давало обильный материал моему воображению и оказало неоценимую услугу умственному моему развитию.

IV.

Родители и гувернантка, конечно, не поощряли ни этих знакомств, ни игр с уличными моими сверстниками, да я и сам не был охотником до последних. Так, я никогда не играл ни в бабки, ни в лапту, ни даже в мяч. Более того: отец хотел научить меня верховой езде и велел выбрать смирную лошадь. Но, попробовав раза два сесть на нее, я наотрез отказался от дальнейших упражнений. Словом, я не имел ни малейших склонностей ни к каким решительно играм и развлечениям, если не считать чтения книг. Но зато с ранних лет я любил участвовать в разговорах со взрослыми, а затем хвастать перед сверстниками всем услышанным, а также и узнанным мною из книг. Подхватив, например, из бесед старших сестер о различии между аристократами и демократами, я обращался затем к знакомым мальчикам на улице или на нашем дворе с вопросом: «А знаете, кто я по убеждению?» И, не дождавшись ответа на этот вопрос, которого они, конечно, не понимали, заявлял: «Я — демократ», после чего объяснял им, какая разница между аристократом и демократом.

Перечитав в 11—12 лет многие произведения

лучших наших беллетристов, я из них, а также из разговоров старших сестер с передовыми студентами, посещавшими нашу семью, усвоил самые либеральные взгляды и рано стал задаваться гуманнейшими планами.

Кроме указанных обстоятельств, значительную, если не сказать — преобладающую роль в раннем моем развитии сыграло разорение отца, совпавшее с моим поступлением в гимназию.

Уже задолго до этого ему изменило счастье, начались неудачи: то он получал невыгодные цены на законтрактованные им для госпиталя продукты, то пошли неурожаи и пр. Чтобы исполнять подряды, он не только должен был затратить имевшиеся у него собственные средства, но также влезть в долги, платя большие проценты. Надеясь еще поправить свои расстроенные дела, отец в течение довольно продолжительного времени старался скрыть от всех, даже от матери, положение дел. Но по его раздражительности и крайне несправедливым выходкам можно было догадаться, что происходит что-то неладное. Когда, наконец, невозможно было более скрывать действительное положение, он сообщил взрослым членам семьи, что разорился.

Вскоре затем, — помню, это было в субботу, вечером, — к нам явился все тот же полицейский чиновник, в сопровождении городового, и, взяв с отца подписку о невыезде, удалился, оставив у нас ночевать городового.

Посоветовавшись с матерью и отдав ей некоторые распоряжения, отец велел заложить лошадь, на которой и уехал, не попрощавшись ни с кем из нас, детей. С тех пор он стал «нелегальным», проживая по чужому паспорту в Петербурге, где я с ним свиделся девять лет спустя, также в качестве «нелегального». Но возвратимся к середине шестидесятых годов и посмотрим, как устроилась наша семья после разорения и бегства отца от кредиторов, собиравшихся засадить его в тюрьму, как «злостного банкрота», каковым он не был в действительности.

Мягкая, добродушная, производившая впечатление безвольной женщины, так как над нею тяготел самоуверенный и непреклонный нрав мужа, мать моя не растерялась после постигшего ее двойного несчастья — разорения и разлуки, быть-может, навсегда с мужем (много лет спустя, когда отец вновь стал легальным и зажиточным, она свиделась с ним), после всего этого принялась за приведение в порядок расстроенного хозяйства: продала лошадей, за исключением пары, также коров, экипажи и все прочее, с чем можно было расстаться; уплатила часть долгов наиболее бедным, нуждавшимся кредиторам; из подрядов в госпиталь оставила за собою только некоторые — доставку молока, квашеной капусты; сдала в наем и часть дома, в котором было 12 комнат и т. д.

Однако, несмотря на всю проявленную матерью

предприимчивость, наше материальное положение было до того печально, что три старшие сестры, находившиеся уже в последних классах гимназии, принуждены были прекратить их посещение, за невозможностью вносить, в сущности, незначительную плату за их учение. Мать с трудом, помню, скопляла десять рублей, следовавшие за мое право учения, да и это ей удавалось уже после того, как мне в гимназии грозили, что я буду уволен, если не принесу денег к такому-то последнему сроку.

Уже не на прекрасном рысаке, запряженном в кабриолет, как то было в прежние года, а пешком; в дождь, вьюгу и мороз плелся я в худеньком пальтишке ежедневно с Печерска в гимназию, отстоявшую от дома Шияновых на расстоянии трех верст. При этом очень часто у меня не было с собой никакого завтрака, а также пяти копеек, чтобы купить что-либо с'естное в гимназии.

Мало того: перешедши только во второй класс, я уже стал заниматься репетиторством, готовя такого же малыша, каким я был сам, за гонорар в один рубль в месяц, в первый класс.

Не буду далее распространяться на эту тему, скажу лишь, что я не только насмотрелся, живя в оригинальном доме Шияновых, на чужие горести и бедствия, но с 11—12-ти лет сам в достаточной мере натерпелся всяких нужд и лишений. Но я никогда не сетовал на отца за то, что онъ внезапно из довольства, даже из

роскоши, поверг нас чуть не в нищету. Наоборот, я всегда и до сих пор признателен и благодарен ему за его стремление доставить нам образование. Что же касается его банкротства, то, как показали последствия, оно также было мне, по крайней мере, на пользу, выработав во мне способность к самостоятельности и труду, а главное — сблизив и научив понимать других обездоленных.

V.

Время моего поступления в гимназию совпало с назначением, после каракозовского покушения, министром народного просвещения известного своим обскурантизмом гр. Д. Толстого, прославившегося введением у нас классицизма. Это обстоятельство также имело огромное влияние в моей жизни.

Наслышавшись с детских лет от взрослых о взглядах Писарева, я, конечно, причислял себя к «реалистам» и являлся ярым противником классицизма гр. Д. Толстого, а его сподвижника Каткова я с раннего детства ненавидел до глубины души. Мне, поэтому, ужасно тяжело было мириться с необходимостью тратить массу времени на изучение ненужных древних языков.

Но я не только при поступлении в гимназию был «демократом» и «реалистом»: благодаря тому же влиянию, я уже в ту раннюю пору являлся также и «атеистом», что было вполне есте-

ственно, так как я не получил еврейского религиозного воспитания и вращался, — как уже сообщал, — преимущественно среди христиан.

По поводу моего раннего «атеизма» помню следующий случай, поразивший всех моих единоплеменников-гимназистов, которых, к слову, в то время принимали в учебные заведения вне процентов.

Однажды, в один из первых дней моего поступления в гимназию, когда я во время большой перемены уплетал купленные у педеля горячие сосиски, ко мне подошел гимназист-еврей, одного из старших классов. Увидев, что я ем «трафное», он пришел в ужас и с возмущением спросил, как могу я совершать столь противное Iегове деяние. На это я ему ответил, что никакого Бога нет, и у нас завязался горячий спор. После этого все гимназисты-евреи узнали, что я, малыш 1-го класса, отрицаю существование Бога, почему сразу приобрел известность.

Гимназия в те времена оказывала незначительное влияние на умственное развитие учеников, — главную роль в этом отношении играли домашняя среда и внешние условия их жизни. В особенно сильной степени это подтвердилось на мне.

Не только мои сверстники, но и юноши с пробивавшейся на их лицах растительностью, например, еще не слыхали ни слова о Чернышевском, когда я уже знал о трагической его

судьбе и в 13—14 лет прочитал знаменитый роман его «Что делать».

Затем, несколько позже, познакомился я и с некоторыми произведениями Добролюбова, Чернышевского, а также Лассаля, Милля, Бокля и др. Конечно, далеко не все понимал я из прочитанного; все же даже и поверхностное знакомство с популярными тогда писателями, вероятно, возымело влияние на мое развитие.

С юного возраста я являлся ярым сторонником эмансипации женщин и в их защиту вел диспуты с значительно более меня старшими противниками.

Я также рано, конечно, перечитал произведения наших беллетристов; из них наибольшими моими симпатиями пользовался Тургенев, но Базаров мне не нравился. Любимейшим же моим поэтом был Некрасов, огромное число стихотворений которого я знал целиком наизусть. Пушкина, вслед за Писаревым, я, понятно, считал отсталым.

Такой моей «разносторонностью» иногда пользовались товарищи: желая отделаться от урока того или другого учителя, они просили меня «завести его», что значило завязать с ним продолжительную беседу по какому-нибудь вопросу, что я не без успеха исполнял.

Из учителей, пользовавшихся симпатиями гимназистов, первое место занимал Тумасов, преподававший историю, затем учитель русского языка П. И. Житецкий, известный украинофил,

и учитель греческого языка Юркевич. Эти лица являлись передовыми, гуманными, старавшимися способствовать умственному развитию гимназистов.

До 1871 года я, благодаря описанным условиям, решительно не чувствовал себя членом гонимой, преследуемой нации. Всегда окруженный христианами, я не имел ясного представления об ограничениях в правах, тяготевших над моими единоплеменниками, да и вообще я не задумывался об их положении. Не испытывая сам никаких стеснений и не слыша от окружавших меня лиц ничего такого, что возбуждало бы во мне националистические чувства, я считал себя русским по симпатиям, стремлениям, идеалам.

Но на Пасхе 1871 г. в Одессе разразились первые анти-еврейские безпорядки. Это печальное происшествие вдруг открыло мне глаза. Оно всколыхнуло нашу семью, близких и знакомых нам евреев, всюду вызвав сильнейшее огорчение и удрученное состояние. Затем пошли толки и споры о том, виноваты ли также и евреи в ненависти, которую питают к ним христиане. Некоторые из споривших, и я в их числе, признавали, что и наши единоплеменники дают достаточно поводов к недружелюбному к ним отношению, из них главным является их предпочтение к непроизводительным, легким и более прибыльным занятиям. Необходимо, поэтому, стремиться, чтобы еврейская масса взялась за

тяжелый, преимущественно физический труд, и в этом еврейская интеллигенция обязана притти ей на помощь. Она должна содействовать освобождению своих сородичей от суеверий, предрассудков, вредных привычек, словом, нужно вытащить евреев из тьмы и нищеты, в которых живет преобладающее их большинство. К этой задаче следует также привлечь состоятельных и богатых соплеменников, так как они не могут оставаться равнодушными к участи своих невежественных и обездоленных единоверцев.

Мне не было еще семнадцати лет, когда я принялся за практическое осуществление этой цели.

В Киеве, как и в других городах еврейской оседлости, существовало заведение для бедных сирот, называвшееся «Талмуд-Тойре», в котором, как показывает его название, еврейские мальчики изучали религиозные произведения. Содержалось оно на средства еврейского благотворительного общества, не проявлявшего большой щедрости: дети, жившие в этом заведении, получали скудную пищу, неважную одежду и пр. По окончании наук они затем выходили на жизненное поприще столь же неподготовленными к производительному труду, какими были и до поступления в «Талмуд-Тойре».

Я и несколько моих товарищей, — преимущественно студенты и гимназисты последних классов, — заявили комитету, заведывавшему этим учреждением, что мы готовы безвозмездно обу-

чать содержавшихся в нем сирот русскому языку, арифметике, истории. Комитет дал на это свое согласие.

С неимоверным пылом принялись мы за обучение ребятишек и вскоре заметили, что некоторые из них, отличавшиеся выдающимися способностями и усердием, обнаруживают изумительные успехи. Это обстоятельство, в связи с вышеизложенными взглядами относительно неподготовленности еврейских бедняков к полезным производительным занятиям, привело меня и некоторых других учителей-добровольцев к заключению, что невозможно довольствоваться одним обучением этих мальчиков общеобразовательным предметам, что даже при полном усвоении учениками всех преподаваемых нами наук они не только не освободятся от необходимости заниматься непроизводительными профессиями, но, наоборот, получат еще лучшую, чем раньше, к этому подготовку. Чтобы избежать столь печальных результатов наших усилий и стремлений, я предложил товарищам-учителям поставить еврейскому благотворительному обществу ультиматум: только в том случае мы будем продолжать свои занятия, если наряду с общими предметами этих сирот будут обучать разным ремеслам — сапожному, портняжному, переплетному, столярному, слесарному. Мало того: рядом с этим мы должны настаивать, чтобы самых способных и талантливых учеников еврейские богачи помещали и содержали на свой счет в

реальном училище или в гимназии, согласно нашему указанию.

Товарищи вполне одобрили это предложение и для его осуществления выбрали комиссию из трех лиц, — меня и еще двух, на несколько лет меня старших, студентов.

Администрация «Талмуд-Тойре», как я уже упомянул, чрезвычайно ценившая наши занятия с питомцами этого учреждения, с радостью ухватилась за наш план обучения детей также и ремеслам. Но не от нее зависело осуществление этого предложения, а от еврейского благотворительного комитета, во главе которого стояли крупнейшие богачи. Узнав от администрации «Талмуд-Тойре» о нашем ультиматуме, этот комитет уполномочил своего председателя, известного тогда банкира Розенберга (тестя филантропа барона Гинцбурга), непосредственно от нас самих узнать сущность нашего плана. Мы, поэтому, получили от него приглашение посетить его, на что мы согласились. Но при этом вышел небольшой курьез, который считаю нелишним здесь передать, так как он отчасти рисует наше тогдашнее настроение.

Когда пополудни мы подошли к роскошному зданию, в котором обитал миллионер Розенберг, и направились в парадный под'езд, то важный швейцар, стоявший у входа, предложил нам войти с черного хода, так как, мол, «теперь у барина сам губернатор», при этом он указал на стоявший у под'езда экипаж.

— Передайте вашему барину, — воскликнул я, — что мы с черного хода не ходим. И, повернувшись, удалился.

Последовавшие за мною товарищи нашли, что из-за такой мелочи, как парадный или черный ход, не стоит демонстрировать, тем более, что мы, ведь, не в качестве просителей за себя явились; к тому же, спустя пару-другую часов, как нам было известно, должно было состояться общее собрание членов еврейского благотворительного общества, на котором председатель его Розенберг предполагал, на основании наших сообщений, сделать доклад по поводу предлагаемых нами реформ. А теперь, не побеседовав с нами, он лишен возможности сделать это. Но я не согласился с ними, заявив, что необходимо научить богачей, чтобы они принимали нас, бедняков, с тем же почетом и вежливостью, какие они применяют при посещении их знатью. Что же касается упущения времени и риска повредить осуществлению нашего плана, то раз Розенберг дорожит им, он найдет способ побеседовать с нами.

Действительно, вскоре после моего прихода домой, ко мне стремглав влетел один из членов администрации «Талмуд-Тойре» и сообщил, что Розенберг прислал к нему нарочного с просьбой, чтобы, разыскав нас, он уговорил пожаловать к нему, что, узнав от швейцара о причине нашего ухода, он распек его и приказал проводить нас по парадной лестнице.

Этим об'яснением я счел себя удовлетворенным, и мы втроем вторично отправились к председателю, когда уже наступил вечер, и он должен был вскоре открыть собрание еврейского благотворительного общества.

Лакей провел нас в роскошнейший кабинет, в котором встретил нас белый, как лунь, старик вполне европейского типа. Еще раз извинившись за вышедшее помимо его воли недоразумение, он пригласил нас изложить подробно наш план. Товарищи попросили меня, как инициатора, сделать это, на что я охотно согласился и с жаром, торопясь, стал развивать свое предложение.

Вспоминая впоследствии эту беседу при упомянутых условиях, я сам удивлялся ее оригинальности: глубокий старик-миллионер, видимо, очень умный и довольно образованный, с напряженным вниманием, стараясь не проронить ни единого слова, следит за горячей проповедью безусого юнца, как можно освободить его единоплеменников от нищеты, невежества и суеверий, а вместе с этим и от тяготеющей над ними ненависти христиан.

Я не стеснялся в выборе выражений и упрекал еврейских богачей, а следовательно, и Розенберга, в том, что, накопив много материальных средств, они очень мало делают для сородичей. Между тем, их прямой, личный расчет должен был бы побудить их не жалеть денег для распространения просвещения, а также для обу-

чения производительным занятиям еврейской массы.

Зная, что нашему хозяину необходимо было торопиться на заседание, мои товарищи, прерывая мою проповедь, предлагали ретироваться. Но Розенберг каждый раз останавливал их, говоря, что ему очень интересно продолжать нашу беседу.

В заключение этот, повидимому, довольно отзывчивый богач, выразил с своей стороны готовность сделать все от него зависящее для осуществления нашего плана, обещая нам, независимо от решения еврейского общества, взять на себя содержание нескольких наиболее талантливых мальчиков в средне-учебных заведениях. Прощаясь с нами, он, видимо, вполне искренно благодарил нас за наше стремление притти на помощь меньшей братии, а также и за указание ему, старику, наилучшего способа быть ей полезным.

VI.

Мы расстались с Розенбергом вполне удовлетворенные результатом нашей с ним беседы. Вскоре затем нам сообщили, что на общем собрании богачей, — которое, к слову сказать, в течение нескольких часов не открывалось вследствие позднего прибытия председателя, — Розенберг энергично отстаивал наше предложение, и в виду авторитета, которым он пользовался, ему

удалось добиться полного согласия со стороны всех собравшихся взять на себя все требовавшиеся расходы. Тогда же ими избрана была исполнительная комиссия, которой поручено было приступить к практическому осуществлению нашего проекта.

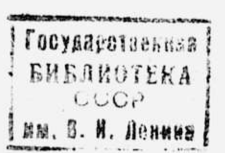
Нужно ли описывать, как мы ликовали, представляя себе то недалекое будущее, когда из наиболее талантливых наших учеников будут выходить выдающиеся люди, — кто знает, может-быть, такие, как Спиноза и Лассаль, — имя Маркса нам тогда не было еще известно.

«Пример замечательно поставленной киевской «Талмуд-Тойре», наверное, послужит образцом для других городов. Слава о ней распространится по всей черте еврейской оседлости».

Так заносились мы в мечтах. Но, — увы! — радость наша была непродолжительна.

Вышеописанное происходило зимой 1872—1873 гг. Весной должны были начать функционировать ремесленные мастерские при «Талмуд-Тойре».

Однажды в ясный солнечный день внимание прилично одетого пожилого господина, проходившего по одной из захолустных улиц части города, называющейся «Заканавье», привлекли громкие детские голоса, доносившиеся из какого-то дома. Прислушавшись к ним, господин заинтересовался этим и, разобрав, откуда голоса доносятся, направился к этому дому. Там, под-



нявшись на лестницу, он очутился в довольно обширной комнате, уставленной партами, на которых сидели за тетрадками и учебниками два-три десятка мальчиков. Неизвестный господин прошел затем в следующую комнату, где увидел то же, что и в первой, потом в третьей он встретил еврея средних лет, который на его вопрос, что это за школа, ответил: «Талмуд-Тойре», об'яснив значение этого названия и сообщив, что все эти классы заведены по инициативе добровольных учителей — студентов и гимназистов.

Любознательный господин чрезвычайно заинтересовался всем услышанным и попросил словоохотливого еврея, оказавшегося смотрителем «Талмуд-Тойре», показать ему все это учреждение, на что тот охотно согласился, польщенный тем, что, очевидно, добрый, расположенный к евреям христианин, так горячо интересуется подведомственным ему заведением. Он повел «прилично одетого господина» по всем классам, в которых, кроме парт, были, как полагается, глобусы, доски, географические карты по стенам и пр. Посетитель очень расхваливал все это оборудование и продолжал задавать разные вопросы, на которые смотритель не переставал давать обстоятельные ответы; затем он посвятил любознательного гостя в предстоящую в скором времени реформу этого учреждения. Слушая с большими интересом все эти сообщения, любознательный господин делал в своей книжке

какие-то заметки, а затем, узнав все, его интересовавшее, он удалился.

Когда вечером нам, явившимся для занятий, смотритель сообщил об этом посетителе, то мы решили, что он, вероятно, газетный репортер. Но вскоре затем оказалось, что это был вновь назначенный инспектор народных училищ, случайно набредший на вполне оборудованную школу со многими классами. На ее открытие, конечно, не было получено разрешения, что, как известно, тогда и долго впоследствии являлось у нас тяжким преступлением.

Стряслась беда: назначено было строгое расследование. Богачи-попечители «Талмуд-Тойре» привлечены были к ответственности; допытывались также фамилий учителей-добровольцев. Началась паника. Чтобы избежать больших неприятностей, богачи, кого нужно было, ублаготворили звонкой монетой. Дело было потушено, но в результате посещения «добрым христианином» нашего любимого детища, на организацию которого нами положено было много стараний и усердия, «Талмуд-Тойре» было навсегда закрыто, а несчастные сироты разбрелись в разные места.

Так печально закончилось существование, несомненно, хорошего учреждения, которое в будущем, наверно, оказалось бы еще полезнее. Между тем, я и до сих пор временами вспоминаю некоторых мальчиков, положительно отличавшихся выдающимися способностями. Они,

конечно, затерялись в массе еврейской голытьбы. Кому, казалось бы, мог повредить, задуманный нами план реформировать «Талмуд-Тойре»?..

*

Столь подробно я остановился на этом эпизоде, потому что он сыграл значительную роль в моей жизни: отчасти он раскрыл мне глаза на господствовавшие в стране порядки. Мое огорчение по поводу закрытия «Талмуд-Тойре» и разрушение лелеянного мною плана было до того велико, что в первое время я дошел чуть не до полного отчаяния.

Очень рано появился у меня позыв к общественной деятельности, стремление приносить пользу угнетенным. Я мог бы привести этому немало иллюстраций, но ограничусь еще одной.

Вскоре после описанного разгрома мне попался в руки устав какого-то ссудо-сберегательного товарищества. Дочитав его до конца, я решил создать аналогичное общество среди нас, гимназистов и студентов, занимавшихся репетиторством и, вследствие непостоянства этого источника существования, временами очень бедствовавших.

Созвав знакомых репетиторов, я предложил им в общих чертах следующий план: путем складчины мы должны были образовать небольшой основной фонд, из которого сейчас могли бы давать ссуды нуждавшимся репетиторам. Затем с доходов от уроков каждый обязан был делать ежемесячные отчисления на свой пай в кассу. Репетитор, имевший уроки выше определенной нормы, не в праве был брать новые, а должен был вместо себя рекомендовать более его нуждавшегося товарища и т. д.

Не буду подробно останавливаться на этом плане, скажу лишь, что он вскоре осуществился и стал прекрасно функционировать. Я, конечно, был избран в число членов комитета. Но год спустя, вследствие политических причин, о которых сообщу ниже, нам самим пришлось ликвидировать это очень полезное для репетиторов предприятие.

По политическим взглядам и стремлениям я был тогда только либералом, хотя некоторые мои знакомые, — Павел Аксельрод, Семен Лурье и др., стали уже революционерами. Отчасти под влиянием печатавшихся в газетах отчетов о процессе Нечаева я стал убежденным противником всякого насильственного способа деятельности. Раскрывшиеся на суде подвохи, мистификации и, в особенности, возмутительное убийство Нечаевым ни в чем неповинного его товарища, студента Иванова, все это сыграло видную роль в моем отрицательном отношении к революцинному способу борьбы. По этому поводу, помню, мне пришлось спорить с П. Аксельродом, который был значительно старше меня: в то время, как мне шел всего 18-й год, он был уже 22—23-х лет.

Теперь не помню в точности, что собственно оспаривал он и что я отстаивал, но, кажется, он находил смягчающие вину обстоятельства, а я доказывал обратное. Здесь мне необходимо посвятить несколько слов этому молодому тогда революционеру, так как он играл большую роль среди известной части киевской передовой интеллигенции.

Слава о нем шла впереди него: он еще был в последних классах могилевской гимназии, когда я и другие киевляне знали от общих знакомых о выдающемся по умственному развитию, благородству и гуманности Павле Аксельроде. Неудивительно поэтому, что, приехав по окончании гимназии в Киев, он сразу стал пользоваться большим авторитетом среди наиболее развитой нашей молодежи. Хотя, в сущности, он не обладал тогда большой начитанностью, скорее даже наоборот, для своих лет он не особенно много знал, но, благодаря природному уму и склонности вечно пропагандировать и популяризировать схваченные на-лету мысли, он на всех нас, бывших его моложе, производил впечатление выдающегося человека.

Как в житейских вопросах, так и в социально-политических, он склонен был тогда к самым радикальным взглядам и, когда зимой 1872—1873 гг. началось революционное движение одновременно во многих городах, П. Аксельрод явился одним из первых в Киеве интеллигентов, примкнувших к нему. На меня он

смотрел сверху вниз, как на жалкого либерала. Мы перестали встречаться. Год с чем-то спустя (осенью 1874 г.), он эмигрировал за границу, и мы вновь встретились, уже как единомышленники, только в 1878 г. в Женеве. Но я забежал значительно вперед.

VII.

Моим стремлением было по окончании гимназии поступить на медицинский факультет, чтобы, сделавшись затем врачом, посвятить себя, — по примеру чрезвычайно популярного в те времена земского врача Португалова, — общественно-медицинской деятельности среди наиболее нуждающейся массы населения. Но, как и многих молодых людей, имевших самые мирные, лойяльные намерения, суровая действительность убедила меня, что, при господствовавших в стране порядках, невозможна широкая работа на пользу ближнего, оставаясь честным, порядочным человеком, отдающим себе отчет в окружающем. Редкий из революционеров того периода не начинал своей общественной деятельности с тех или иных легальных попыток принести пользу обездоленным. Но каждый из них скоро убеждался в невозможности таких стремлений, вследствие различного рода помех, стеснений, а то и прямых преследований со стороны всякого рода власть имущих лиц. Несмотря на тяготевшую над пе-

чатью суровую цензуру, все же в литературе попадались произведения, изображавшие тщетность усилий честных людей, отстаивавших обиженных за правду, справедливость. Я, например, и до сих пор хорошо помню сильное впечатление, которое на меня и на моих сверстников произвел вышедший в ту пору, в виде отдельной книги, под заглавием «Столбы», один судебный процесс, раскрывший невероятные злоупотребления власть имущих и полное бессилие лиц, стремившихся защищать потерпевших.

Все же я не скоро сдался: лишь после значительной внутренней борьбы решил я расстаться с умеренно-либеральными своими взглядами и мирнейшими планами на счет будущего. Для этого потребовалось скопление целого ряда обстоятельств.

До 18-ти лет мне вовсе не приходилось выезжать из Киева, и жизнь крестьян я знал, поэтому, лишь по немногим существовавшим тогда произведениям. Только весной 1874 года, получив урок на каникулярное время у богатого арендатора имения Киевской губернии, я впервые очутился в деревне.

Она произвела на меня крайне тяжелое впечатление, хотя по своему благосостоянию, вероятно, ничем не отличалась, а, может-быть, даже превосходила многие другие.

Живя в Киеве, я, конечно, встречал вообще в городе и в частности на Шияновских улицах

и в их флигелях разного рода бедняков, нищих, босяков, но все эти обездоленные люди представлялись мне, на-ряду с зажиточными слоями населения, как бы случайными явлениями, — несчастными исключениями из общей массы. К тому же, видя их с самого детства, я, по присущему людям свойству, никогда не задумывался над существующим контрастом между разными слоями населения. Совсем иное действие произвела на меня жизнь крестьян.

Прежде всего, «белые хаты с вишневыми садочками», воспетые украинскими писателями, казались мне жалкими, убогими лачугами. Затем меня поразил непомерно тяжелый труд крестьян за пашнями, покосами и др. сельскими работами. К тому же, как я узнал, он столь скудно вознаграждал их, что уже с весны они, ради необходимых им средств для уплаты податей и прокормления до нового урожая, подряжались на водочный завод, в котором затем всю осень и зиму обязаны были работать по 14—16-ти часов в сутки за взятую ими вперед ничтожную сумму, в 15—18 рублей! Я увидел, что, кроме холщевых рубах с такими же штанами да самодельной свитки, никакого другого платья не было у этих вечных тружеников. Этой одежде, как я убедился, соответствовала по своей ограниченности скудная пища, а также и внутреннее убранство хат, состоявшее из голых полатей с разным тряпьем, вместо постелей.

Все это было для меня ново, а потому про-

извело удручающее впечатление. Тяжесть его еще усиливалась сопоставлением этого каторжного труда крестьян при жалком их существовании с жизнью в пресыщении и полном бездельи богатого арендатора, его семейства, да и моей собственной.

У малосведущего и впечатлительного юноши, каким я, в сущности, был тогда, впервые ярко возникли вопросы: каким образом произошел этот контраст и почему несчастные труженики мирятся со своей тяжелой долей? Затем, что следует предпринять для устранения этого?

Раз возникнув, мысль стала упорно работать далее в этом направлении. Досуга у меня было много, так как занятия с мальчиком отнимали у меня очень мало времени, и я вдоволь мог предаваться размышлениям.

Отправляясь в эту деревню, я захватил с собою некоторые, хотя и раньше уже мною читанные книги. В их числе, помню, находились, между прочим, популярные в то время сочинения Лассаля, История цивилизации Бокля, Положение рабочего класса Флеровского и др.

Эти сочинения теперь производили на меня совсем иное впечатление, чем раньше: я черпал в них такие мысли, каких прежде не замечал. Здесь, к слову сказать, считаю нужным упомянуть о знаменитых «Исторических письмах» Миртова, а также о статьях Н. К. Михайловского, печатавшихся в «Отечественных Записках», так как некоторые «знатоки» нашего революционного движения теперь сообщают о громадном, будто бы, влиянии, оказанном этими двумя писателями, на революционную молодежь начала 70-х годов, чего в действительности не было.

Мысли Миртова, изложенные в названных «Письмах», пришлись вполне по душе лучшей части тогдашней молодежи: они подтвердили ее собственные стремления приносить пользу ближнему. Например, я и мои товарищи, еще до знакомства с этими «Письмами», на практике осуществляли проповедь Миртова о «долге образованных классов» по отношению обездоленных масс. Но из этого взгляда мы вовсе не умозаключали, — как то сообщают такие, будто бы, «современники» появления этих «Писем», как Н. Русанов, которому тогда было только 9—10 лет, — что необходимо «бросать науку и итти в народ». Никакого революционного влияния эти знаменитые «Письма» на нас не имели.

Что же касается Н. Михайловского, то он не только не являлся тогда «властителем наших дум», но многие, и я в том числе, в те годы совершенно не были знакомы с его статьями, а некоторые не знали даже его имени, смешивая последнее с поэтом Михаловским.

Совсем иное действие оказывали тогда сочинения Лассаля, с одной стороны, и Флеровского—

с другой. В то время, как описание последним безвыходного тяжелого положения трудящихся масс России вызывали у чуткой к страданиям ближнего молодежи готовность притти народу на помощь и принести для этого всяческие жертвы, — страстные зажигательные речи и статьи гениального немецкого агитатора призывали к борьбе и указывали на наиболее верный путь к победе, к торжеству права над безправием. Все же ни одно из перечисленных, а также никакое из других тогда популярных произведений не разрешало для нас, русских, вопроса: как нам быть? Что нам следует предпринять, чтобы вывести русский народ из бедственного его положения?

Ни «Исторические письма», ни «Положение рабочего класса», ни тем более статьи Михайловского на эти вопросы не давали ответа. Но на почве, подготовленной унаследованными чертами характера, в связи с условиями жизни, воспитания и среды, решающее действие оказывали отдельные, нередко мало или даже вовсе незначительные факты, случаи и обстоятельства. Одним из таковых явилось для меня следующее происшествие, свидетелем которого я был, проведя указанное лето в деревне.

VIII.

Однажды в страдную пору мне сообщили, что на следующее утро прибудет волостной писарь

и об'явит крестьянам какое-то важное распоряжение начальства.

Не будучи до того никогда на сельском сходе, я решил посмотреть, что он собою представляет. Поэтому, по обыкновению, вдосталь поев утром всяких вкусных яств, я, в сопровождении старшего сына арендатора, моего сверстника, пошел к сельскому правлению.

Там собралась значительная часть мужского населения, которая, как оказалось, уже давно ожидала писаря. Час проходил за часом, а он все не являлся. Между тем, была горячая для крестьян пора уборки хлебов, когда опасно терять сухой солнечный день. Кое-кто из них выражал поэтому нетерпение и неудовольствие на писаря, зачем так долго он заставляет их напрасно торчать здесь. Однако, никто из них не решался уйти, очевидно, из боязни поплатиться за это. Чтобы скоротать время, многие, расположившись в тени на земле, вели хозяйственные разговоры или рассказывали друг-другу о всевозможных проделках леших, домовых и всякой другой нечистой силы.

Переходя от одной кучки к другой вместе с сыном арендатора, которого все хорошо знали, я, как новичок, к тому же «атеист», «реалист» и пр., изумлялся, как взрослые люди с глубокой, искренней верой относятся к таким нелепым, детским сказкам.

Когда наступил полдень, крестьяне, достав из карманов ломти хлеба с солью, этим по-

завтракали. Мы же отправились домой, где вновь с'ели несколько вкусных блюд, а затем, вернувшись к сельской управе, нашли крестьян в прежнем положении, — важная особа, их волостной писарь, все еще не пожаловал.

Так прошел весь день. Только с закатом солнца показалась бричка, запряженная парой резвых коней. Завидев ее еще издали, крестьяне поднялись с своих мест, а когда, лихо подкатив, она остановилась, и из нее сошел господин средних лет, одетый в прекрасный летний костюм, на жилете которого болталась толстая золотая цепь от часов, а на некоторых пальцах видны были такие же перстни, решительно все крестьяне, обнажив головы, отвесили этому франту самый низкий поклон.

Увидев столь подобострастное отношение к такой мелкой сошке, являвшейся к тому же наемным слугой самих же крестьян, я, как новичок, недоумевал и вместе с тем возмущался до глубины души. Этот «барин» даже не счел нужным не только извиниться, но хотя бы упомянуть о причине, заставившей его продержать зря сход в такую пору целый день. Он сразу приступил к делу, состоявшему в том, что вышло распоряжение, в силу которого сельским обществам предоставлялось право составлять приговоры об отправке нежелательных им почему-либо членов на свой счет в Сибирь. Прочитав эту бумагу, изящный джентльмен обратился к сходу с предложением назвать тех «порочных» односельчан,

которых следует отправить в эту далекую страну, с одним названием которой у всякого россиянина связаны были тогда самые страшные представления.

Но сход молчал. Волостной писарь вновь повторил свое предложение, заявив, что, так как начальство «требует» высылки в Сибирь плохих односельчан, то необходимо указать таковых, хотя в действительноости, в прочитанной им бумаге говорилось лишь условно о высылке, «в случае нахождения таковых лиц в селах».

После настояний этого комментатора предписаний начальства, кто-то робко заявил, что, мол, в этом селе нет таких порочных членов, которых следовало бы сослать в Сибирь, к тому же еще на счет самого же сельского общества.

— Как нет таких? — воскликнул писарь. — А Степан Федченко, который никогда в срок не вносит податей!

Таких «вредных членов» он назвал еще несколько человек.

— Та ж правда! — подтвердили некоторые голоса, принадлежавшие, как я потом узнал, к личным недругам перечисленных писарем кандидатов на отправку в Сибирь.

— Ну, вот и хорошо, — видимо, обрадовался писарь, услышав эти голоса. — Тогда я составлю приговор, что все ваше сельское общество заявило желание, чтобы эти порочные члены были отправлены в Сибирь.

— Можно! Согласны! — повторили, вероятно, те же немногие крестьяне, между тем как преобладающее большинство продолжало упорно молчать, вследствие ли робости или равнодушия, а то, быть-может, и просто от усталости и естественного желания скорее отправиться домой, чтобы успеть отдохнуть до рассвета.

Но тут началась неподдающаяся моему перу сцена: перечисленные писарем крестьяне только теперь, как говорится, «расчухавшиеся», что им грозит опасность ни за что ни про что быть оторванными от любимой деревни, где протекла их жизнь,а также и их предков, где жила вся их родня, подняли вопль, крик и плач.

— Та за вищо вы нас губите! Ратуйте нас, диды! — обращались они с мольбами, очевидно, к более степенным и пользовавшимся весом в глазах односельчан, крестьянам.

Не помню, что отвечали последние, припоминаю только, что сцена эта произвела на меня самое тяжелое впечатление, а так как к тому же уже давно стемнело, и мой спутник торопил меня вернуться домой, где нас ждали с ужином, мы оставили сход до окончания этого так называемого «сельского самоуправления».

На обратном пути сын арендатора сообщил мне, что этот писарь, пользующийся протекцией высших властей, — станового и исправника, — всякими приемами обирает обширную подведомственную ему волость, и что крестьяне в полной кабале у него, почему страшно его боятся.

По его же словам, настойчивость писаря непременно отправить несколько человек в Сибирь обусловливалась как стремлением проявить перед начальством усердие, так и тем, что процесс этой высылки должен был принести ему известный доход.

Все это сын арендатора излагал вполне эпическим слогом, словно сообщал о самых естественных и безобидных фактах, из чего можно было заключить, что эти возмутительные приемы были для него привычными, обыденными явлениями, нисколько не удивлявшими, а тем менее, огорчавшими его.

А у меня в это время в ушах продолжали раздаваться вопли и мольбы несчастных, обреченных на изгнание из общества, в сущности, по желанию одного лишь подкупного писаря [1]).

---

[1]) К слову, предчувствие грозящих впереди бедствий не обманывало этих ни в чем неповинных людей. Когда, одиннадцать лет спустя, мне по пути в Карийскую каторжную тюрьму пришлось итти вместе со многими «общественниками», я в достаточной степени насмотрелся на их ужасное положение. Эти, по закону, не лишенные прав состояния ссыльные, в действительности являлись последними людьми в «мире отверженных». Решительно от всякого каторжанина, поселенца, бродяги они подвергались всевозможным обидам, унижениям и оскорблениям: их толкали, били, издевались над ними, отводили им наихудшие места на этапах и в тюрьмах, заставляли исполнять самые тяжелые, грязные и неприятные работы и пр. (См. мою книгу «16 лет в Сибири», стр. 150—51, изд. Н. Глаголева. СПБ.). Не трудно представить себе, какова была затем судьба этих париев, по приходе на места их поселения в Сибири ...

На следующее утро, когда я еще лежал в постели, до меня донесся какой-то смешанный шум, крик, плач и стон. Это, оказалось, к арендатору, пользовавшемуся среди местных крестьян недурной репутацией, пришли кандидаты на высылку в Сибирь с женами, а то и с детьми, просить его, чтобы он за них заступился перед писарем, который остался ночевать в этом селе, чтобы утром закончить все формальности с приговором общества. По их словам, священник, которого они просили заступиться за них, отказал им в этом.

Не помню, какова была судьба этих страдальцев. Для меня же описанное происшествие было, как я уже упомянул, решающим событием в моей жизни.

Впервые тогда я ясно, конкретно увидел, насколько ужасны условия жизни преобладающего большинства трудящегося населения, — кормильцев кучки тунеядцев, воров, взяточников. Только тогда я понял, что всякие стремления передовой части общества притти на помощь эксплоатируемым массам, в лучшем случае, при самом счастливом стечении обстоятельств, могут играть роль лишь незначительных паллиативов, неспособных ни на иоту изменить господствующий кругом строй, полный самых вопиющих несправедливостей.

Почти одновременно с этим сходом в Петербурге происходил известный процесс долгушинцев, за отчетами которого, печатавшимися в газетах, я следил с большим вниманием.

Производимое на меня этим политическим делом впечатление не могло итти ни в какое сравнение с моим отношением к нечаевцам.

Между тем как деятельность последних не вызывала во мне ни малейших симпатий, приемы долгушинцев, наоборот, показались мне вполне соответствовавшими моим собственным взглядам и складу моего характера: известно, что члены этого кружка были первыми в нашем революционном движении социалистами, отправившимися «в народ», за что они и поплатились многолетней каторгой, где большинство их и погибло.

К этой деятельности склонился и я. «Что толку в том, что будешь со временем добросовестным лекарем? — задавал я себе вопрос. — Народ, который нас кормит и доставляет все условия для нашего образования, не перестанет от этого страдать. Необходим радикальный переворот во всем строе общества и государства».

Только одно обстоятельство заставило меня серьезно задуматься, прежде чем я принял окончательное решение: «Что будет с матерью да отчасти и с сестрами, когда я целиком отдамся революционной борьбе»? — спрашивал я себя. Не говоря уже про потерю для близких мне лиц зарабатываемых мною уроками средств, хотя и незначительных, но все же являвшихся существенными вкладами в бюджете нашей семьи,

— мать, естественно, давно лелеяла надежду, что, став врачом, я освобожу ее от тяжелых материальных забот и облегчу ее жизнь на склоне ее лет. Я и сам неоднократно строил перед нею на этот счет планы. А теперь ей не только приходилось отказаться от них, но к тому же заранее примириться с неизбежной для меня перспективой очутиться в тюрьме и на каторге. Каким страшным ударом будет, поэтому, для бедной матери мое решение!

Я часто возвращался к вопросу, как облегчить ее состояние, но ничего не в состоянии был придумать. В голову приходили лишь мысли, что не я первый и не последний, невольно причиняющий боль, страдания, а то и несчастие матери и другим близким людям. Если останавливаться перед такими обстоятельствам, то пришлось бы вовсе отказаться от общественной деятельности, так как почти всякое занятие, в большей или меньшей степени, связано с риском, с опасностью пострадать и повредить любимым лицам. Но тогда невозможен был бы никакой шаг вперед. К тому же народ страдает еще куда больше, и наш долг притти ему на помощь.

В конце-концов, я решил положиться на естественный ход событий и поторопился с возвращением в Киев, чтобы немедленно примкнуть к революционному движению. Перед самым отездом я побывал в ближайшем к селу уездном городе, где случайно встретил одного петербургского студента, прибывшего туда на каникулы и привезшего с собой несколько нелегальных брошюр. Среди них имелись некоторые произведения Бакунина и Лаврова, а также популярные тогда брошюры, вроде «Хитрой механики», «Сказки о четырех братьях» и т. п.

Я с жадностью набросился на них и чуть не в одни присест прочел все. Этот студент охотно согласился предоставить их мне. Помню, какое неимоверное наслаждение доставили они мне: приятно было смотреть на них, держать их в руках; они казались мне чрезвычайно ценными, как наилучшие средства для освобождения угнетенных масс.

В их содержании я сразу не мог, конечно, разобраться: все, что в них сообщалось, я находил вполне верным, правильным, соответствовавшим тому же, к чему и я пришел самостоятельно, размышляя по поводу сельского схода и процесса долгушинцев. Я не только не определил себе, куда склоняются мои симпатии, — к лавристам или бакунистам, но даже самый вопрос этот в то время еще не возникал у меня, до того были чужды мне существовавшие тогда революционные течения.

IX.

Возвращаясь в Киев, я заранее представлял себе радостную встречу с Аксельродом и другими членами его кружка, которые, как уже

выше упомянуто, раньше стали революционерами.

«Теперь я ваш! Пойдем вместе! Будем работать на одном поприще», — подобные фразы проносились в моей голове, когда я приближался к родному городу.

Но там меня ожидало тяжелое разочарование: с первых же слов сестры сообщили мне, что в Киеве произведены были большие аресты: Семен Лурье и другие забраны, Аксельроду с несколькими товарищами удалось скрыться, и они эмигрировали за границу.

Повидавшись затем с членами нашего ссудо-сберегательного товарищества, я узнал, что оно ими закрыто, так как вследствие происшедших обысков они побоялись, как бы жандармы, наткнувшись на наши денежные и другие отчеты, не приняли этого невинного, но основанного, конечно, без разрешения начальства, общества за тайный политический кружок.

Занятый другими мыслями и стремлениями, я совершенно равнодушно отнесся к этому сообщению. Но известие о происшедшем в Киеве разгроме было большим для меня ударом: кроме Аксельрода и его товарищей, я не знал никаких других революционеров, с которыми мог бы сойтись и получать от них столь необходимые неофиту, особенно на первых порах, советы, указания, подпольные издания и пр.

Некоторое время я чувствовал себя совсем

одиноким, безпомощным; я не знал, что предпринять, куда направить свои силы. Возвращаясь в Киев, я думал о близкой плодотворной работе с опытными товарищами-революционерами. И вдруг вместо среды, в которой происходила бы энергичная деятельность, я нашел пустыню, в которой бродили охваченные паникой люди, не имевшие ни малейшего отношения к чему-либо политическому.

Несколько облегчила мое состояние встреча с приятелем, школьным товарищем, Иосифом Щепанским. Разговорившись с ним, я, к великой моей радости, узнал, что он также, оставаясь в Киеве во время каникул, совершенно самостоятельно пришел к тем же выводам относительно невозможности легальной деятельности, что и я, и склонился к революционным взглядам.

Мы с ним решили приступить к пропаганде наших убеждений среди наиболее развитых наших товарищей. Наметив несколько гимназистов последних классов, мы пригласили их притти ко мне на квартиру, где я и Щепанский поделились с ними тем, до чего сами додумались и что мы узнали из прочитанных нами нелегальных произведений.

Особенного энтузиазма наша проповедь не вызвала ни в ком из них: они, правда, согласились собираться для совместных чтений подпольных изданий, но, кажется, уже после второго раза эти собрания, — не помню, по какой причине, — прекратились. Только спустя несколько

месяцев кое-кто из этих гимназистов примкнул к революционному движению.

Вскоре затем от уцелевшей из кружка Аксельрода невесты Семена Лурье я узнал, что в Киеве находится молодой врач, Владимир Эмме, у которого произведен был обыск, но, за отсутствием улик, он был оставлен на свободе под надзором полиции. По ее словам, Эмме был очень интересным, чрезвычайно образованным и довольно опытным социалистом.

Я, понятно, пожелал немедленно познакомиться с ним, что, при посредстве этой девушки, мне вскоре и удалось.

Эмме, действительно, оказался незаурядным человеком. Знакомство с ним дало мне очень много. Он не только был всесторонне начитанным человеком, прекрасно знавшим социалистическую литературу, но он уже побывал в эмиграции и лично знал всех знаменитых тогда деятелей, господствовавшие направления, разные происшествия, приключения и пр. Всем этим он охотно со мною делился, и я, конечно, слушал его рассказы с жадностью, просиживая у него нередко до полуночи.

От него я узнал о «лавристах» и «бакунистах», о «пропагандистах» и «бунтарях», о «чайковцах» и о многом другом, чего из попавших мне в руки нескольких брошюр и сказок я не мог почерпнуть. Через Эмме же я познакомился и с его единомышленником, Николаем Колоткевичем, тогда еще студентом киевского университета, впоследствии ставшим знаменитым народовольцем, погибшим затем в Шлиссельбургской крепости. У Эмме я впервые встретил также первую «нелегальную», разыскиваемую полицией, известную Анну Розенштейн-Макаревич, с которой потом, очутившись в кружке южных бунтарей, очень подружился[1]). Через него же я стал получать все доходившие из-за границы запрещенные сочинения и т. п.

По убеждениям Эмме был лавристом, к тому же питавшим недружелюбные чувства к последователям Бакунина, о которых он рассказывал мне много несимпатичного, особенно из эмигрантской цюрихской жизни, свидетелем и очевидцем чего он сам был. Эти его рассказы произвели на меня, юного адепта, готового идеализировать всех революционеров, самое тяжелое впечатление.

Насколько я в то время был способен отдавать себе отчет относительно господствовавших у нас тогда направлений, мне казалось, что как по

---

[1]) **В 1877 году Анна Розенштейн-Макаревич, приняв псевдоним Кулешевой, эмигрировала за границу, где сразу завоевала выдающееся положение, как замечательная агитаторша, сперва среди французов, затем—итальянцев, за что ей неоднократно пришлось посидеть в тюрьмах. Вышедши в Италии замуж за известного там анархиста Андрея Коста, она, став затем социал-демократкой, разошлась с ним и сблизилась с известным лидером итальянской соц.-дем. партии Турати. Анна Кулешева-Турати до сих пор работает в рядах этой партии, как одна из наиболее выдающихся лидеров; она пользуется в Италии большой популярностью.**

темпераменту, так и по склонностям и стремлениям, мне следует пристать к лавристам, что я и сделал.

Известно, какую обширную и всестороннюю подготовку требовал Лавров от своих последователей до их выступления на практическое поприще. Не понимая тогда всей трудности ее осуществления, я усердно принялся за занятия, начав, как это рекомендовал Петр Лаврович, с системы Лапласа, чтобы затем от астрономии перейти к физике, потом к химии, физиологии и лишь в заключение — к социализму. Для осуществления этой программы, при самом усиленном труде, нужно было бы употребить несколько лет. А в это время «подготовлявшийся», — еще задолго до одоления всех требовавшихся по программе Лаврова предметов, — легко мог очутиться на каторге по какому-нибудь пустяку, — за нахождение у него подпольной брошюры, а то и за знакомство с «неблагонадежным».

Но в первое время я не мог сам понять всей неосуществимости этого требования Лаврова. Знакомясь, прежде всего, с его собственными произведениями, — со статьями в редактируемом им журнале «Вперед», — я испытывал самые тяжелые ощущения: так как я многого в них не понимал, то приписывал это полной моей неподготовленности к чтению столь «умных и серьезных» произведений. Только впоследствии я разобрал, что в значительной степени вина в моем непонимании падала отчасти

на самого Лаврова, в виду тяжеловесности его манеры писания и «скучного его стиля».

Считая себя лавристом, я, тем не менее, охотнее читал произведения Бакунина, так как они не только были мне вполне понятны, но, вместе с тем, — я живо чувствовал это, — возбуждали во мне наилучшие стремления. Так, я и до сих пор помню, какое сильное влияние на меня в ту пору оказало вскользь брошенное Бакуниным в какой-то его статье замечание, что огромное большинство являющихся крайними революционерами в юности, с годами становятся умереннее, а к старости нередко превращаются в реакционеров.

Это, казалось бы, простое констатирование факта заставило меня сильно задуматься, почему, действительно, происходят с людьми такие метаморфозы. Не помню, как я решил этот вопрос. Но тогда же я дал себе «ганнибалову клятву», что до гробовой доски не изменю заветам юности. Пусть другие судят, сдержал ли я слово, а также не должен ли я быть признателен Бакунину за то, что, хотя невольно, он вырвал у меня эту клятву. Не могу припомнить, чтобы я Лаврову был обязан чем-нибудь аналогичным.

Но я несколько уклонился от темы.

X.

В описываемые мною годы от последовательного революционера требовалось решительно

всем жертвовать ради народных интересов. Как известно, считалось даже предосудительным кончать учебные заведения, так как это дает, мол, возможность занимать «привилегированное положение». Истинный революционер должен был «сжечь за собою корабли» и, после некоторой подготовки, отправиться «в народ». Без малейших колебаний, после возвращения в Киев, я осуществил все, что требовалось в этом отношении: оставил учебное заведение, расстался с карьерой и начал готовиться к деятельности среди крестьян.

Кроме приобретения значительного «научного багажа», в подготовку входило, как обязательное условие, усвоение какого-либо физического занятия и ремесла. Я выбрал столярное.

Для осуществления этой задачи мне необходимо было поселиться отдельно от семьи, что далеко не легко было сделать. Теперь не помню, как я об'яснил это матери и сестрам, с которыми, кроме поездки на каникулы в деревню, до того никогда не расставался.

На окраине города я нашел помещавшуюся в сыром, подвальном этаже столярную мастерскую, рядом с которой отдавалась внаем небольшая, кое-как меблированная комнатка, чему я, конечно, очень обрадовался. Быстро сговорившись на счет цены с немцем-хозяином, я на себе перенес все свое имущество.

Поселившись у этого столяра, я предложил ему за небольшую плату обучать меня его мастерству, об'яснив свое желание необходимостью заняться физическим трудом для развития мускулов, в виду слабого моего здоровья. Немец охотно согласился на мое предложение.

Вечера я посвящал «теоретической подготовке», умственному труду, а по утрам — строгал, обтесывал и пр. Таким образом, эту часть задачи мне удалось легко осуществить. Но я этим не удовольствовался: меня разбирало нетерпение поскорее заняться одновременно с подготовкой и практической деятельностью. В этом отношении мне также повезло.

Кто-то сообщил мне, что хозяином находившейся через дорогу большой экипажной мастерской является бывший студент Трофимовский, человек образованный, поставивший себе целью не эксплоатировать, а наоборот, всячески улучшать положение довольно большого количества занятых у него рабочих. Словом, что это исключительный, тенденциозный хозяин.

Я поспешил познакомиться с ним. Как своей внешностью, — высокий, статный, красивый брюнет, — так и простыми манерами и обращением, Трофимовский сразу располагал в свою пользу.

С первых же слов он подтвердил дошедший до меня слух, что за это занятие он взялся исключительно с целью улучшить положение рабочих, поставить их в более благоприятные условия в смысле размера заработной платы,

количества часов труда, гигиеничности обстановки и пр.

Все это мне, конечно, очень понравилось, и я попросил его показать мне мастерские и помещение, в которых спят, питаются и вообще проводят часы досуга несколько десятков его рабочих.

Действительность в сильной степени разочаровала меня: я не нашел ни малейшего подобия ни тех фаланстер, о создании которых мечтал Фурье, ни знаменитой фабрики, основанной Р. Оуэном в Нью-Лэнарке: как мастерския, так и помещения для жилья выглядели довольно невзрачными, хотя, быть-может, чем-либо они и превосходили другие такие же заведения в то время.

Видя произведенное на меня осмотром неважное впечатление, Трофимовский старался меня уверить, что это лишь начало, что для радикальных реформ ему не хватает материальных средств и пр. Возможно, что указанные им причины, действительно, существовали, но сомневаюсь, чтобы и впоследствии ему удалось внести сколько-нибудь существенные улучшения.

Занят он был по горло до позднего часа ночи, главным образом, приобретением заказов на экипажи да приискиванием денег для разных расплат. В мастерские, поэтому, он забегал на самое короткое время, при чем, — надо отдать ему справедливость, — обращался с рабочими, насколько я мог заметить, запросто, мягко, гуманно, что они, видимо, очень ценили. Несомненно, для той эпохи Трофимовский являлся исключительным предпринимателем и оригинальным человеком.

Я предложил ему свои услуги, выразив готовность безвозмездно заниматься по вечерам, в воскресные и праздничные дни с его рабочими, на что он охотно согласился. Если мы вспомним, что в те времена такие занятия, вызывая подозрение властей, считались делом неблагонадежным, недозволенным и могли повлечь за собою закрытие заведения и другие печальные последствия, то надо признать, что согласие Трофимовского на мое предложение рекомендовало его с хорошей стороны.

Само собою разумеется, надумав заниматься с рабочими, я имел в виду, главным образом, распропагандировать их, но решил действовать осторожно, постепенно.

Созвав всех своих рабочих в ближайшее воскресное утро, Трофимовский в моем присутствии сообщил им о моем намерении и предложил желающим заявить о своем согласии заниматься. Но, к великому моему удивлению и огорчению, послышались отрицательные возгласы, в роде: «Да зачем нам учиться», «Мы и так проживем», «Грамоту знаем, да она нам ни к чему» и т. п. Только очень немногие заявили: «Что же, попробуем».

В полутемном, не отличавшемся особенной чистотой и опрятностью помещении, служив-

шем столовой и спальней, собралось человек десять. Я пришел с сочинением Наумова «Сила солому ломит», заключающем в себе рассказы из жизни горнорабочих, чрезвычайно популярные в те времена.

Выбрав наиболее, как мне казалось, интересный очерк, я начал читать его собравшимся, полагая, что этим приемом заохочу их к занятиям. Но вскоре я убедился, что моя небольшая аудитория слушает далеко не с захватывающим интересом, а затем, то один, то другой, накинув на себя пальто, говорил соседу, что идет туда-то и приглашал его с собою. К концу моего чтения осталось четыре человека, — ясно было, что рабочие не интересуются чтением. Думая, что хоть оставшиеся лица будут заниматься, я сообщил им адрес моей квартиры и пригласил к себе, так как в моей комнатке было удобнее и уютнее, чем в их общем помещении.

С нетерпением ждал я наступления назначенного мною вечера, стараясь отгадать, придут ли все четверо или только часть их, а может-быть, ни один. Пришло двое. Я и им обрадовался и вновь приступил к чтению. Но вскоре заметил, что один из них, парень лет двадцати, зевает в кулак. Я спросил его, разве ему не интересен выбранный мною рассказ. Он ответил, что, наоборот, «очень занятен», да за день работы до того умаешься, что вечером сильно спать хочется.

Раза три пришли эти парни ко мне, затем зевавший отстал и остался один-единственный у меня слушатель, очень любознательный молодой рабочий, которому я продолжал читать все того же Наумова.

XI.

Между тем, от усиленных моих занятий, — кроме умственного и физического «саморазвития», я еще давал уроки для получения средств к существованию, — или вследствие сырости в моей комнате, я почувствовал какую-то боль в груди. Выслушавший меня молодой врач, мой хороший приятель, посоветовал мне отправиться к специалисту проф. Хржонщевскому, что я и сделал.

— Вы чем занимаетесь? Какое ваше ремесло? — спросил профессор, очевидно, принявший меня по косоворотке и высоким сапогам за мастерового, что мне, помню, было ужасно лестно.

Я сказал, что работаю в столярной мастерской. Тогда профессор заявил, что для меня вредно это занятие и посоветовал отправиться в деревню, иначе, мол, заболею.

«Ну, вот и профессор советует мне отправиться в народ», — помню, подумал я, возвращаясь к себе.

Между тем, как тщательно ни скрывал я от близких и знакомых свое решение посвятить себя революционной деятельности, слух об этом

с течением времени все же распространился, в чем я убедился из следующей беседы.

Однажды вечером я встретился со старым знакомым нашей семьи, с доктором Сощиным, знавшим меня еще ребенком. Поздоровавшись, он прямо спросил, правда ли, будто я стал революционером? Я не счел нужным скрываться от него. Это был не только хороший, добрый человек, но и передовой, прогрессивный. Услыхав мой утвердительный ответ, доктор Сощин стал горячо убеждать меня, чтобы я отказался от своего решения. Доводы его были обычные в то время: «Погибнете ни за грош, ничего не добившись, будете потом жалеть» и т. д. Исчерпав все аргументы, он спросил: «Ну, скажите, чего вы хотите, на что надеетесь». Я сказал, что хочу революции. Сощин расхохотался.

— Вот против этих вы хотите совершить революцию! — воскликнул он, показав на проходивший в это время вблизи нас взвод вооруженных солдат. — Да они преданы царю и отечеству и разнесут вас вдрызг. В России революция! Ея не будет и через сто лет. Ни мы, ни наши дети не дождутся ее.

— Поживем, увидим! — ответил я.

— Не увидите, потому что вас сгноят в тюрьме, на каторге.

— «Но где, скажи, в какой стране без жертв получена свобода?» — процитировал я Рылеева.

— Почему же вам быть этой жертвой? Вспомните вашу бедную мать, сестер! — сказал он.

— У других также имеются близкие, с которыми им тяжело расставаться.

Долго еще убеждал и упрашивал меня этот передовой человек и в заключение, махнув рукой, воскликнул:

— Я не узнаю вас: были благоразумным юношей, а вдруг стали неизлечимым фанатиком!

С грустью попрощался он со мною, очевидно, считая меня погибшим человеком. После этого мы больше уже не встречались. Добрый доктор оказался плохим пророком в двух отношениях: хотя я много затем испытал на революционном пути, но решительно никогда не жалел, что выбрал это, а не другое поприще, к тому же революция произошла у нас не через сто лет, и я ее дождался. А он сам, удовольствовавшийся своей мирной профессией, — как мне потом сообщили, — умер еще не старым человеком.

Но я еще не сообщил, как моя мать отнеслась к принятому мною решению. Не желая огорчать ее, я откладывал беседу с нею со дня на день. Наконец, однажды, когда я, по обыкновению, пришел домой обедать, сестра Соня, с которой я вместе рос и учился и которая знала о принятом мною решении, сказала мне, что накануне какая-то знакомая, встретивши мать, к слову, с соболезнованием упомянула, как об общеизвестном факте, о том, что я стал революционером. Ничего этого не знавшая мать моя была страшно

поражена этим и, по словам сестры, горько плакала с тех пор.

Избегнуть тяжелого об'яснения было уже невозможно. Вышла мать вся в слезах. Я стал утешать ее. Но что можно было сказать в этом случае? Я старался доказать бедной, плохо меня понимавшей матери, что иначе поступить я не мог, что «от судьбы не уйдешь» и заранее не угадаешь, какая участь лучше и т. п.

Мать всегда верила мне, скорее чувствуя, чем понимая, что я худого не сделаю. Отчасти этот инстинкт побудил ее примириться с случившимся. И хотя перед ее глазами проходили печальные перспективы, предстоявшие ей, сестрам и мне в близком будущем, тем не менее, она все же успокоилась под влиянием разговора со мною, и ни в тот день, ни в следующие дни более уже не возвращалась к этой грустной теме.

Кончая эти воспоминания о «делах давно минувших дней», я спрашиваю: мог ли я не стать революционером?..

Как мы в народ собирались[1]).

I.

Создавшееся в Киеве, — после происшедшего там в конце лета 1874 года чревычайного разгрома, — положение было особенно тягостно для меня, тогда — девятнадцати-летнего юноши, лишь незадолго перед тем ставшего революционером. Несмотря на усиленные занятия подготовкой к отправлению в народ, я не мог не отдавать себе отчета в чрезвычайной затруднительности моего положения.

Единственный мой сверстник и единомышленник, школьный товарищ Иосиф Щепанский, принял предложенный ему урок на выезд, как ради необходимого ему заработка, так и затем, чтобы, живя в деревне, знакомиться с крестьянской средой. Другой мой хороший знакомый, д-р Владимир Эмме, а также его приятель, Ник.

[1]) В иной несколько обработке и в значительно меньшем об'еме, — некоторые главы здесь впервые появляются, — этот очерк появился в «Вест. Евр.» за 1911 г., № XI, под заглавием: «Один из первых русских марксистов» (Из периода хождения в народ).

Колодкевич, были на несколько лет старше меня, что, как известно, в том возрасте, в котором я тогда был, имеет большое значение: по отношению к ним я чувствовал себя черезчур молодым, неравным им и в некотором роде отчужденным.

Своей «подготовкой» я также далеко не был доволен, хотя ясно не мог бы тогда сказать, почему именно. Я инстинктивно чувствовал, что та обширная программа, которую предлагал тогда редактор «Вперед'а» П. Л. Лавров, совершенно невыполнима, к тому же ужасно нежизненна и неинтересна. Поэтому, даже сознавая, что я совершаю предосудительный акт, не следуя в точности за программой Лаврова, я все же отрывался, напр., от «Системы мира» Лапласа, чтобы читать более близко к судьбе русских крестьян относившиеся книги и статьи.

Сделанная мною попытка «спропагандировать» рабочих каретной мастерской, — как я уже сообщил в предыдущем очерке, — тоже окончилась полной неудачей. Словом, я чувствовал себя не важно, а потому поздней осенью 1874 г. надумал покинуть Киев и отправиться в какой-нибудь губернский город, вроде Воронежа, Полтавы, Чернигова. «Там, — думал я, — более подходящая для меня арена: общество и молодежь, вероятно, не так напуганы арестами, как в Киеве, и я могу рассчитывать на некоторый успех». Но раньше принятия окончательного решения я обратился к Эмме, как за советом,

так и за рекомендациями в какой-нибудь из названных выше городов.

Вполне одобрив мое намерение, Эмме выразил готовность познакомить меня с одним вновь приехавшим в Киев, по его словам, выдающимся социалистом, у которого, как он предполагал, должны были иметься связи в Чернигове и Полтаве. Этим приезжим оказался Иван Федорович Фесенко.

Когда в условленный вечер мы с Эмме, поднявшись по узкой крутой лестнице во второй этаж, очутились в очень небольшой студенческой комнатке, то нашли Фесенко занятым чтением.

На вид ему можно было дать лет за тридцать, хотя в действительности ему тогда было 27—28 лет. Широкоплечий, с большой окладистой светло-русой бородой, он производил впечатление человека крупного, здорового, и никому не могло бы притти в голову, что он несет в себе зародыш тяжкой болезни, которая вскоре сведет его в могилу. Своим видом, огромным покатым лбом, серыми, несколько прищуренными, близорукими глазами и большой головой Фесенко напоминал ученого, профессора и, вообще, сразу располагал всякого в свою пользу. Он был очень приветлив с новыми знакомыми, прост, внимателен, гостеприимен.

Поздоровавшись с нами, Фесенко затем увлекся спором с Эмме, насколько помню, о Спенсере и Михайловском, ввиду имевшейся в новой

книжке «Отечественных Записок» статьи последнего об этом английском ученом. Многое в их споре было для меня не вполне понятно, так как я впервые тогда услыхал имя Михайловского и статьи его, следовательно, не читал. Но я слушал, вероятно, с полу-открытым ртом, чтобы не проронить ни единого слова из беседы столь умных и ученых людей. То тот, то другой из них ссылался на каких-нибудь авторитетов, и я старался запомнить их имена и произведения, чтобы затем и самому прочитать последние. Чаще всего Фесенко цитировал «Капитал» Маркса, о существовании которого я уже знал.

Спор их затянулся надолго, и мне в этот раз не пришлось переговорить с Фесенко о моем намерении. Поэтому, при прощании мы с ним условились о времени следующего моего посещения.

II.

— Итак, батенька, вы на личном опыте успели уже убедиться в правильности евангельского изречения: «несть пророк во граде своем», — сказал Фесенко, улыбаясь, когда в один из ближайших вечеров я вновь к нему пришел.

Уже в первое мое посещение он произвел на меня чрезвычайно благоприятное впечатление: как я уже сказал, у него было очень выразительное, интеллигентное лицо, сильный грудной голос и малорусский акцент, к тому же крепкие рукопожатия и широкая во все лицо добродушно-ласковая улыбка, когда он шутил, — все это располагало в его пользу. Даже не особенно комфортабельная обстановка его комнатки нравилась мне: при слабом свете небольшой лампочки с темно-голубым абажуром, комнатка эта, в которой, кроме кровати, стола, пары стульев и полки с книгами, ничего больше не было, вследствие непрерывного его курения, быстро наполнялась табачным дымом. Поэтому, при крупных своих размерах, Фесенко напоминал мне в ней какого-нибудь сказочного героя, попавшего по воле злого духа в маленькую коптилку, из которой он не в состоянии вырваться. Но «коптилку» эту я находил удивительно уютной и привлекательной.

— Не торопитесь уезжать, — давайте сперва познакомимся, а еще того раньше будем пить чай, — сказал он, добродушно улыбаясь.

Служанка в это время принесла самовар со всеми принадлежностями, и Фесенко начал хозяйничать.

— Начнем вот с чего, — сказал он, налив чай в стаканы, — правда ли, как мне сообщил Эмме, что вы без пропаганды с чьей-либо стороны совершенно самостоятельно пришли к сознанию, что необходимо стать революционером?

— Да, отчасти, но что в этом интересного?

— Это очень интересно, очень важно, — заявил он. — Ну, вот, вы и расскажите об этом, затем и я вам расскажу про себя, и, таким обра-

зом, мы быстро познакомимся, узнаем друг друга.

Если читатель вспомнит разницу в наших годах и то благоприятное впечатление, которое, как я уже упомянул, Фесенко с первого посещения произвел на меня, он, полагаю, легко себе представит восторженное чувство, вызванное во мне его предложением.

Торопясь, увлекаясь сам рассказом и потому часто не кончая фраз, я стал передавать ему наиболее крупные факты и обстоятельства из моего прошлого, побудившие меня стать революционером, о чем я подробно сообщил в предыдущем очерке.

Фесенко, видимо, слушал с большим интересом: по временам он быстро схватывался со стула и произносил какие-то одобрительные восклицания. Когда же я окончил рассказ, он воскликнул:

— А, знаете, батенька, что я вам теперь скажу? Вы отсюда не должны уезжать: для вас и здесь не мало дела найдется.

— Какие тут дела! — заметил я с сомнением.

— Увидите, сколько их окажется! — произнес он как-то загадочно. — Прежде всего, сведите меня со всеми теми лицами из круга ваших знакомых, которые, по вашему мнению, могли бы стать активными социалистами.

Выразив на это согласие, я перечислил ему наиболее, по моему, подходивших лиц, и, в виду его предложения, сделал краткие их характеристики. То были преимущественно гимназисты последних классов, а также лица без определенных профессий или экстерны, готовившиеся к выпускным экзаменам. При умелом на них воздействии, если не все, то некоторые из них могли бы, как тогда требовалось, «сжечь за собою корабли», т.-е. порвать со своим «привилегированным прошлым».

— В свою очередь и я напишу некоторым моим товарищам, чтобы они также приехали сюда: дела здесь для многих найдется! — сказал Фесенко. — Погодите уезжать отсюда, не торопитесь, вот увидите.

Уверенный и, видимо, возбужденный тон Фесенко, в связи с его солидной, внушительной внешностью, конечно, произвел на меня свое действие: если в средине нашей беседы я еще сомневался и колебался, то к концу ее я мысленно уже отказался от своего намерния покинуть Киев.

— Ну, и отлично! Превосходно! Эх, батенька! — восклицал своим густым семинарским басом Иван Федорович, повидимому, весьма довольный, когда я, наконец, заявил ему о своем согласии не торопиться с от'ездом. — Уж таких мы с вами здесь делов наделаем! Но сказано правильно в Евангелии: «не единым хлебом сыт будешь». Нельзя довольствоваться одной практической деятельностью; необходимо одновременно заниматься также и теорией. Это только бакунисты воображают, будто они перевернут

6*

все вверх дном, оставаясь при этом невежественными людьми. Глубоко заблуждаются они: никого и ничего они не изменят, — все это останется по-старому, если последуем за Бакуниным. Нельзя, конечно, также требовать, — как это делает Лавров, — чтобы каждый пропагандист предварительно прошел чуть не все науки, к тому же по обширнейшей программе: для приобретения таких энциклопедических знаний могла бы оказаться недостаточной и жизнь Мафусаила. Нужно, поэтому, выбрать все наиболее необходимое и существенное для революционера; при этом усвоение теоретических познаний должно итти параллельно с практической деятельностью. Хотите, давайте, будем вместе заниматься!

Я с трудом верил своим ушам, до того казалось мне не только правильным, но и давным-давно мне хорошо знакомым все, что говорил Фесенко: мне это не раз уже приходило на ум, но я не мог этого формулировать.

«Да, ведь, как это верно, правильно! Ну, и умный же он человек!», — произносил я мысленно, с восторгом слушая плавную, убежденным тоном произнесенную речь Ивана Федоровича.

А Фесенко, покончив с одним вопросом, немедленно переходил к другому. Коснувшись Петра Лавровича, он не обошел молчанием известного его взгляда на задачи пропагандиста, о чем шли тогда бесконечные споры между бакунистами и лавристами: по мнению Лаврова, социалисты должны были стремиться к тому, чтобы «поднять умственное и нравственное состояние крестьян до своего собственного уровня», который он ставил очень высоко; между тем как Бакунин, наоборот, утверждал, что мы не только ничему не можем научить народ, но сами должны многому у него поучиться. По поводу указанного взгляда Лаврова Фесенко сказал:

— Ведь это химера, абсурд, безумие! Ну, подумайте, батенька, это наших-то Пилу и Сысойку довести до уровня высоконравственнейших и образованнейших лавристов!

Во мне в это время боролись два противоположных чувства: с одной стороны, мне в высшей степени было приятно и лестно, что вот этот пожилой, серьезный и крупный революционер, лично встречавшийся за границей с Лавровым и другими знаменитыми эмигрантами, так откровенно высказывается о столь важных вопросах. И кого критикует он? Самого Лаврова, которого я представлял себе чем-то недосягаемо высоким и далеким: так искренно верующий католик, живущий в глуши, должен представлять себе папу. С другой стороны, я, идеализировавший, — как и все мы тогда, — наших крестьян, находил обидным, что Фесенко сравниватет их с забитыми, несчастными «Подлиповцами» Решетникова.

— Ну, что вы, Иван Федорович! Да разве

можно всех крестьян ставить наравне с Пилой и Сысойкой? — сорвалось у меня укоризненное восклицание, несмотря на мое благоговейное отношение к Фесенко.

— А вы полагаете, что это преступное сравнение? — спрашивал он иронически. — По вашему, наш крестьянин, конечно, наделен всеми существующими в мире добродетелями? Он, понятно, добр, благоразумен, великодушен, альтруистичен, склонен к социализму с самых пеленок, революционер еще в утробе матери и пр. Знаю, знаю все эти бредни, выдуманные Бакуниным, правда, не самостоятельно им: частью он, как и Герцен, позаимствовал этот взгляд на народ у славянофилов. Ну, а за Бакуниным, как всегда, без малейшей критики, повторяет эту нелепость и Лавров, тот самый Миртов, который, со времени напечатания своих «Исторических писем», придает такое выдающееся значение «критике» и роли в истории «критической личности». Поверьте, — продолжал Фесенко, вспоминая о своих устных спорах с Лавровым, — я совершенно не в состоянии был понять, как этот, не только очень образованный, но и чрезвычайно ученый человек, к тому же довольно пожилых уже лет, — ему уже около 50-ти, — может серьезным тоном толковать подчас о чисто детских мыслях. Взять хотя бы то значение, какое он придает во время пропаганды изображению привлекательными картин будущего социалистического строя!

Ведь это дичь, нелепость, никуда негодная стряпня. Ну, что, скажите, можем мы теперь знать, кроме общих положений, в какие конкретные формы выльется жизнь в будущем? Эх, батенька, все это фантасмагория, утопия, белиберда! Уж поверьте мне!

— На веру я ничего не принимаю, — счел я нужным заявить, вероятно, вспомнив из Писарева, что так именно должен в этом случае ответить серьезный, вдумчивый «реалист».

— Конечно, конечно, это только façon de parler, — поспешил согласиться Фесенко, с едва заметной добродушной улыбкой. — Уже à priori, полагаю, — продолжал он затем, — можно было бы сказать, что крепостное право должно было наложить на наших крестьян печать приниженности, покорности, задавленности, — черты, ничего общего не имеющие с теми, которые им приписывает Бакунин. Ну, подумайте: если бы было верно его утверждение, будто наш крестьянин, в отличие от его собратьев в других странах, является кладезем всевозможных добродетелей, то пришлось бы в таком случае признать, что крепостное состояние не только не было злом, бедствием, а, наоборот, являлось благодетельным учреждением, раз при нем могли в течение столетий, если не развиться, то хотя бы только сохраниться неприкосновенными заложенные в душе нашего народа выдающиеся, изумительные качества. Ведь за десять-то лет, всего протекшие со времени их освобождения

от крепостной зависимости, не могли же они уже успеть приобрести все эти добродетели? Ясно, что в утверждениях Бакунина нет ни малейшей логики. Нет, батенька, это один самообман, дураченье молодежи, — сознательное или бессознательное, не берусь решить, — но в том и другом случае это делает ему мало чести.

Мои непосредственные впечатления о крестьянах, хотя были крайне ограничены, все же скорее подтверждали правильность взгляда на них Фесенко. К тому же его представление о них было им почерпнуто из непосредственного знакомства с ними с самого детства: в качестве сына деревенского дьячка он, при присущей ему наблюдательности, действительно, знал основательно, со всех сторон крестьян и их жизнь. Но, как мне тогда казалось, Фесенко черезчур обобщал и в значительной степени утрировал свои впечатления. Замеченные им у своих земляков малороссов отрицательные черты он целиком переносил на всех без различия русских крестьян. По этой же, вероятно, причине он не придавал большого значения общинной форме землевладения, трудовому началу, артельным привычкам и другим основам народничества, сохранившимся наиболее у великороссов, с чем, как известно, с отдаленных времен носились почти все передовые, а также многие отсталые люди России. Несомненно также, что и по складу своего ума Фесенко не

мог, — как, повторяю, в то время делали это почти все мы, — идеализировать крестьянскую среду. Кроме основательного знания ее, а также свойства его ума и характера, в этом направлении должно было оказать на него большое влияние и раннее усвоение им взглядов Карла Маркса.

Опровергая Бакунина и Лаврова, авторитет которых я, наоборот, ставил тогда на недосягаемую высоту, резко, беспощадно критикуя их, Фесенко, по-пути, пропагандировал воззрения автора «Капитала», не находя слов для выражения своего восторга по этому поводу.

— Изучайте, штудируйте вот это удивительное произведение, — говорил он, указывая на лежавший у него всегда на столе открытым экземпляр «Капитала». — Я перечитал его несколько раз и все еще нахожу в нем что-нибудь новое, раньше не так мною понятое. Что за изумительная логика! Какая колоссальная эрудиция! До сих пор не было подобного гения.

Уходя поздно ночью от Фесенко, я чувствовал себя переполненным массой новых сведений, впечатлений, чувств. Кажется, ни до, ни после этой встречи никто другой не дал мне в один раз так много, как этот бывший семинарист.

III.

Мое сближение с Фесенко пошло чрезвычайно быстро. Он не только охотно и просто делился

со мною своими взглядами и впечатлениями, но также часто и подробно рассказывал о своем прошлом. К сожалению, за давностью лет, — без малого протекло с тех пор почти полстолетия, — далеко не все интересное сохранилось в моей памяти. Так, я почти ничего не помню о его детских и отроческих годах, хотя, кажется, он кое-что сообщил мне и об этих периодах своей жизни.

Родился Фесенко в 1846 г. в каком-то селе Полтавской губ., где отец его в течение многих лет был дьяконом, а затем посвящен был в священики. Семья, кажется, была немногочисленна и особенных лишений не испытывала. С ранних лет Иван Федорович проявлял большие способности, любознательность и настойчивость.

Поступив в начале пятидесятых годов в бурсу при Полтавской семинарии, Ваня захватил еще тот господствовавший во время царствования Николая I «учебный режим», бесподобное изображение которого дал Помяловский. Но, как и в некоторых других случаях, этот жестокий режим не загубил выдающихся способностей Ивана Федоровича, хотя, несомненно, в сильной степени содействовал раннему расстройству его здоровья, что привело к столь преждевременной его кончине.

Оставив семинарию до ее окончания, — в точности не помню когда, — Фесенко поступил сперва в знаменитый в то время Нежинский лицей, чрез который прошло не мало лиц, впоследствии ставших видными революционерами; затем в конце шестидесятых годов, довольно уже великовозрастным молодым человеком, он перебрался в Петербург, где поступил на юридический факультет.

Среди товарищей как в лицее, так и в университете, Иван Федорович всегда пользовался большим уважением и авторитетом. Одна уже внешность его должна была действовать на многих импонирующим образом: выше среднего роста, широкоплечий, с большой головой и обильной, рано появившейся на лице светлорусой растительностью, он выглядел значительно старше своих лет. Этой внешности вполне соответствовало бросавшееся в глаза при первой же с ним беседе умственное его превосходство над другими, — его начитанность, красноречие, способность горячо защищать свои убеждения.

Насколько могу теперь припомнить, Иван Федорович, кажется, не принадлежал к числу тех молодых людей, которые в известном возрасте занимаются развиванием своих сверстников, вернее сказать, — сверстниц. Но, помимо его воли, нередко выходило так, что вокруг него собиралась молодежь, на которую он имел большое влияние. Сама судьба нередко сталкивала его с такими лицами, которые, если не навсегда, то на очень многие годы крепко к нему привязывались: приведу один характерный случай, имевший затем колоссальное влияние на все наше революционное движение семидесятых го-

дов, а, следовательно, и, вообще, на историю нашей страны.

Однажды пригласили Фесенко заниматься с подростком, сыном очень богатого помещика Черниговской губернии. Мальчик жил в Петербурге только со своим старшим братом, студентом математического факультета. Вдвоем они располагали большой, роскошно меблированной квартирой, у них имелись: лакей, повар, выездные лошади и пр.

Занимаясь со своим учеником, Фесенко беседовал с его старшим братом, получившим тепличное воспитание: до семнадцати лет он прожил с родителями на юге Франции, где и окончил коллеж. Склонный к мечтательности, юноша этот до того поддался влиянию репетитора демократа, что также перешел на юридический факультет, чтобы основательно изучить социальные вопросы, а затем не только расстался со всеми своими барскими замашками и привычками, за исключением французского акцента, но сделался таким отчаянным ригористом и аскетом, равного которому впоследствии не было среди всей передовой молодежи семидесятых годов, столь богатой выдающимися деятелями, беспредельно преданными интересам угнетенных масс.

Читатель, знакомый с историей революционного движения описываемой мною здесь эпохи, вероятно, уже догадался, что я говорю о Дмитрие Андреевиче Лизогубе, имевшем, как бла-

годаря удивительным чертам своего характера, так и по предоставленным им на революционные предприятия огромным денежным средствам громадное влияние на ход и развитие нашего освободительного движения[1]). Но возвратимся к Ивану Федоровичу Фесенко.

Будучи в университете, он отличался большой любознательностью и трудолюбием. Как тогда передавали, профессора высоко ценили его и намечали в качестве кандидата для командировки за границу с целью подготовки к занятию кафедры политической экономии. Но чуть ли не во время выпускных экзаменов, что, если не ошибаюсь, случилось в конце 1872-го или в начале следующего года, Фесенко, Лизогуб и еще несколько их товарищей, к немалому удивлению людей, не посвященных в политику, вдруг подали прошения об увольнении их из университета. Причиной этого внезапного решения были следующие чрезвычайно важные обстоятельства.

Годы пребывания Фесенко в Петербурге совпали с некоторым затишьем, наступившим среди учащейся молодежи после известного процесса нечаевцев. Обнаруженные на суде подробности махинаций, к которым прибегал эмигрировавший сам за границу организатор тайного об-

[1]) **Если не ошибаюсь, недавно игравший в Украине столь крупную роль при Скоропадском председатель совета министров Ф. Лизогуб является братом Дмитрия и бывшим учеником Ив. Фед. Фесенко.**

щества, Нечаев, его мистификации, насилия и, наконец, возмутительно совершенное им убийство ни в чем неповинного товарища, студента Иванова, — все это подействовало самым отталкивающим образом на большинство тогдашней передовой молодежи: у нее явилось отвращение к заговорщическим, якобински-бланкистским приемам и к централизованным тайным организациям.

Но, несмотря на отрицательное отношение к нечаевщине, у тогдашней передовой молодежи вовсе не исчез интерес к дальнейшим судьбам нашего освободительного движения. Наоборот, одновременно и вскоре после этого процесса в небывалых раньше размерах возросло в ней сочувствие к положению трудящихся масс вообще, и к крестьянам — в частности. Как известно, в Петербурге и в других университетских городах с конца 60-х годов стали возникать кружки саморазвития, стремившиеся распространять среди передовой молодежи хорошие, тенденциозно-подобранные сочинения — Флеровского, Лассаля, Луи-Блана, Дрепера и др. Параллельно с этим молодежь начала заводить связи среди городских рабочих, которым преподавала разные общеобразовательные предметы. Вскоре затем из-за границы, где тогда гремел первый, марксовский интернационал и незадолго перед тем в крови десятков тысяч рабочих раздавлена была Парижская Коммуна, — раздался из рядов нашей эмиграции знаменитый

клич «в народ», нашедший горячий отзвук в сердцах лучшей части нашей передовой молодежи.

Тогда-то наиболее восприимчивая и отзывчивая ее часть как бы вдруг прозрела, воспрянула духом и пришла к выводу, что грешно, преступно обзаводиться дипломами и аттестатами, дающими возможность стать по отношению к многомиллионной трудящейся массе населения, лишенной всего, в привилегированное положение, следовательно, сделаться «эксплуататорами народа».

Это настроение охватило также Фесенко и некоторых его товарищей, когда они приблизились к окончанию курса. Но, насколько могу припомнить, ни Фесенко, ни Лизогуб не примкнули ни к одному из начавших тогда распространяться в России и среди нашей молодежи, очутившейся за границей, политических направлений, — «пропагандистов» или, что то же, «лавристов», и «бунтарей» или «бакунистов». Может быть, причиной этого было то, что вскоре после оставления университета наши друзья отправились за границу.

Как известно, то было время пилигримства нашей молодежи в Швейцарию, точнее — в Цюрих, где, кроме нескольких сот русских студенток, которым местный университет и политехникум широко открыли двери своих аудиторий, — сосредоточился почти весь цвет тогдашней, правда, очень малочисленной, полити-

ческой нашей эмиграции. Там, конечно, велись непрерывные дебаты между сторонниками господствовавших тогда двух социалистических фракций — «бакунистами» и «лавристами» — о преимуществах того или иного способа деятельности в народе. Выяснив себе вполне эти разногласия, — а нередко мало или вовсе не разобравшись в них, но обязательно с пылом отстаивая правильность того или иного, — многие из молодежи там же вступали в тесные друг с другом связи, образовывали кружки единомышленников и затем возвращались на родину, чтобы группами или парами пойти «в народ». Там же некоторые из них немедленно приступали к практической деятельности, будучи вполне убежденными в том, что теперь они обладают наивернейшим средством в самый короткий период времени освободить весь трудящийся люд на всем необ'ятном пространстве, занимаемом их родиной, а то и вселенной, от угнетающих их бесчисленных бед и сразу создать наисовершеннейший строй.

Но Фесенко и Лизогуб, даже очутившись в самом водовороте ожесточеннейших споров, все же не примкнули ни к одному из враждовавших лагерей. Как уроженец деревни, считавший себя знатоком крестьян, Фесенко приходил чуть ли не в бешенство от взгляда Бакунина на русский народ, будто, всегда готовый к бунту, склонный к альтруизму и проч., а также и от его теории «анархии». Необходимо было обладать не малой умственной самостоятельностью, чтобы в ту пору всеобщего в наших революционных кругах увлечения этими теориями — открыто выступать против их автора, пользовавшегося безграничным признанием. В столь непочтительном отношении к авторитету Бакунина Фесенке помогло, как я уже сообщил, довольно основательное для того времени его знакомство с «Капиталом» Маркса. Но я помню из того же периода других лиц, которые тоже изучали это произведение, например: Юзов-Каблиц, Плеханов, Тищенко, — тем не менее они разделяли взгляды Бакунина.

Как я уже сообщил, Фесенко во многом расходился и с Лавровым, на что имеется собственное свидетельство последнего. Так, в «Материалах для истории русского социально-революционного движения» Лавров, между прочим, сообщает: «Фесенко (при посещении его в Лондоне, *Л. Д.)* не допускал даже временного самостоятельного хозяйства общины из опасения конкуренции, способной повредить социалистической солидарности»[1]). Несмотря на обычную у Лаврова неясность этого сообщения, все же очевидно, что в личных беседах с ним Фесенко не соглашался с его взглядами на общину. Но отношения его к Лаврову и его приверженцам были, тем не менее, корректные, хорошие, чего нельзя сказать по поводу личных столкновений

[1]) Выпуск X, стр. 75, загр. изд.

его с анархистами: Бакунина и его последователей, — вероятно, в качестве ярого сторонника Маркса, — Фесенко буквально не мог выносить, в особенности в первое время по возвращении из заграничной поездки.

Не помню, сколько времени он и Лизогуб пробыли в Западной Европе, кажется, довольно долго. Побывав в разных странах и запасшись, подобно другим ездившим за границу, наивернейшим «планом», как скорее осчастливить родину, наши друзья осенью 1874 г. направились обратно в Россию. Но на границе их приняли в свои об'ятия жандармы и, хотя ничего предосудительного при них не было найдено, тем не менее Лизогуба отправили на жительство в его Черниговское имение, а Фесенке предложили выбрать самому город, обязав его подпиской о невыезде. Поводом к этим мерам, как вскоре выяснилось, послужил знаменитый в наших революционных летописях «донос Трудницкого», приобревшего в ту пору почти такую же мрачную известность, как в наше время — Азеф.

Если чужая душа, вообще, потемки, то душа предателя — непроницаемая грязь, гнусность. Для нас, людей 70-х годов, до сих пор остается совершенно непонятным, что именно побудило Трудницкого, человека состоятельного и довольно развитого, изменить своим убеждениям и предать лучших своих друзей, товарищей, а

также совершенно ему незнакомых и ни в чем неповинных людей.

Мелкопоместный помещик одной из малорусских губерний, Трудницкий в описываемое мною время также побывал за границей, где со многими познакомился и затем примкнул к образовавшемуся там кружку братьев Жебуневых. Предоставив, как это тогда водилось, свои средства «на общее дело», он отправился «в народ», в качестве сельского учителя. Но летом того же года, без малейшего видимого повода Трудницкий вдруг отправил в грозное тогда Третье Отделение обширнейший донос, в котором не только самым подробным образом изложил все, что видел и знал, но также многое, являвшееся плодом его богатого воображения.

То был первый в истории революционного движения описываемой эпохи донос, причинивший массу зла и бед огромному числу лиц. Последствия его были ужасны: несколько сот молодых людей очутились в тюрьмах и в Петропавловской крепости, где многие из них умерли до суда от болезней, сошли с ума и кончили самоубийством. Другие, просидев по два-три и больше лет в предварительном заключении, предстали затем перед судом особого присутствия сената по так называемому «Большому процессу» или 193-х [1]).

[1]) Года два спустя, летом 1876 г., правительство сообщило, что Трудницкий, находясь на Кавказе на службе, покончил с собою. Было ли это результатом угрызения совести, — неизвестно.

С Фесенко и Лизогубом Трудницкий, кажется, даже не встречался за границей, и лишь на основании слухов он знал об их там пребывании, — этого было для него достаточно, чтобы внести и их в список оговоренных им лиц.

В Киеве Фесенко очутился после упомянутого мною разгрома, вызванного там, как и во многих других крупных и мелких городах, доносом Трудницкого, к которому вскоре затем присоединились «чистосердечные признания» Низовкина, Ларионова, Гориновича и других ренегатов.

Аресты и обыски вызвали такую панику и произвели такую пустоту, что для преследуемого правительством трудно было найти пристанище у «сочувствующего», нельзя было спрятать «нелегальщину» и т. п.

*

Указывая на Киев, как на желательное местопребывание, Фесенко, между прочим, руководился тем соображением, что профессором политической экономии тамошнего университета был Н. Зибер, тогда, кажется, являвшийся единственным во всем цивилизованном мире преподавателем, который открыто, с кафедры проповедывал учение Маркса. Вскоре по приезде в Киев, Фесенко поспешил с ним познакомиться.

Рассказывая мне о своих встречах и беседах с проф. Зибером, Фесенко чрезвычайно расхваливал его за его приверженность к учению Маркса,

а также и за смелость в отстаивании этого на лекциях и в печати. Однако, между этими, чуть ли не единственными тогда в Киеве, горячими и непоколебимыми последователями Маркса существовали и довольно большие разногласия, касавшиеся, главным образом, их взглядов на практическую революционную деятельность.

Будучи в теории ярым марксистом, проф. Зибер, тем не менее, отрицал необходимость осуществлять взгляды основателей научного социализма на деле. По его убеждению, — будто бы вполне вытекавшему из учения Маркса и Энгельса, — капиталистический процесс сам собою, без постороннего воздействия извне, неизбежно должен притти к собственной гибели, т.-е. к торжеству нового, коллективистского строя. Всякое же стремление, как отдельных лиц и групп, так партий и правительств, ускорить этот процесс — может, наоборот, лишь замедлить его, следовательно, вместо пользы, принести только вред заинтересованным в его гибели трудящимся массам.

Исходя из этих, — по существу, совершенно неправильных, — соображений, проф. Зибер, как устно, так отчасти и в печати, не придавал никакого положительного значения ни классовой борьбе пролетариата, ни деятельности рабочих партий, союзов и пр. Все, мол, само собою сделается, когда условия для возникновения нового строя достигнут необходимого для их торжества развития, подобно тому, как на

свет появляется новое существо, после того, как во чреве матери плод вполне созревает. Поэтому, обращаясь к известному, приведенному самим Марксом в предисловии к «Капиталу», сравнению классовой борьбы пролетариата с ролью повивальной бабки, проф. Зибер старался доказать, что это сравнение говорит не «за», а «против» какого-либо вмешательства в естественный, законосообразный процесс; в противном случае, — говорил он, — можно причинить лишь неисчислимый вред, что постоянно и происходит.

Исходя из этих же соображений, проф. Зибер относился иронически и к нашим стремлениям распропагандировать крестьян и, вообще, к хождению «в народ». Но он вполне сходился с Фесенко в отрицательном отношении к русским «устоям» и к нашим крестьянам: если верить Н. К. Михайловскому, Зибер говорил ему, будто «мужика надо предварительно выварить в капиталистическом котле». Но, сходясь во взгляде на крестьян с проф. Зибером, Фесенко делал исключение лишь для сторонников рационалистических сект.

Зашла у меня с ним, вскоре после первой нашей продолжительной беседы, речь о причинах описанного выше разгрома хождения в народ.

— Конечно, Трудницкий и другие предатели, — сказал Фесенко, — приложили к этому свои руки. Но, не будь этого, все же я уверен, движение «в народ», как оно практиковалось до сих пор, потерпело бы фиаско. Избранный, как бакунистами, так и лавристами способ деятельности не мог закончиться иначе, как полной неудачей, потому что он был основан на совершенном незнании крестьян, на чрезвычайной их идеализации. Совсем иное дело — приверженцы наших рационалистических сект. Они не жили под гнетом крепостного права, их сознания не затемняли наши попы, а обрушивавшиеся на них со стороны правительства и администрации возмутительнейшие преследования не только развили в них недовольство и готовность к протесту, — хотя, правда, пассивному, в большинстве, — но также сплотили их воедино, сделали их куда более солидарными и альтруистичными, чем православные крестьяне. Необходимо, поэтому, ареной своего воздействия избрать наиболее передовые секты — «бегунов», «не наших», «молокан», «штундистов». При умении подойти к ним, не возбудив в них естественной в их положении подозрительности, — полагал Фесенко, — можно было перевести присущий им чрезмерный их интерес к религиозным вопросам на социализм.

Многое еще в этом роде излагал по этому поводу Фесенко, но я всего не могу теперь припомнить. Замечу только, что с нашей современной точки зрения придуманный им план деятельности в народе был, как ниже увидим, нисколько не менее утопичен, чем приемы бакунистов

и лавристов. Напомню также, что, как впоследствии оказалось, почти одновременно с Фесенко, в противоположных концах России, — в Петербурге — Кравчинский и Рогачев, в Одессе — Ив. Ковальский и Ив. Дробязгин, в Киеве — Як. Стефанович и Ек. Брешковская, также выбрали ареной своей деятельности рационалистические секты: общие условия эпохи наталкивали людей, исходивших далеко не из одних и тех же посылок, на одинаковые планы практической деятельности, отчего, однако, последние нисколько не становились ни правильными, ни осуществимыми.

IV.

Сближаясь с Фесенко, я в то же время знакомил его со своими товарищами. Как я уже упомянул, это были юноши моих приблизительно лет. Одной беседы Фесенко с каждым из них было совершенно достаточно, чтобы они тут же решили оставить учебные заведения, отказаться от всякой карьеры и посвятить себя «навсегда» деятельности среди народа. Конечно, почва была уже подготовлена, как общими условиями, господствовавшими тогда в стране, так и нашей со Щепанским пропагандой их. Но все же чрезвычайно сильно было влияние, вернее — обаяние, производимое речами Фесенко, если эти юноши сразу решались сделать нередко чрезвычайно для них трудный шаг. Вот характерный случай.

Среди моих товарищей по гимназии был в последнем классе очень способный и умный юноша, сын крестьянина, Лаврентьев. Нашелся какой-то меценат, согласившийся давать ему средства для ученья. В гимназии он шел среди первых учеников и считался кандидатом на медаль. Когда мы со Щепанским устроили кружок саморазвития, в котором читали запрещенные книжки, Лаврентьев вошел в него, но ему, случайно получившему возможность учиться, не хотелось расстаться с карьерой, о которой он, вероятно, давно мечтал, чтобы вновь вернуться в свою же, крестьянскую среду. Понимая всю драматичность его положения, мы не старались на него подействовать, но, затем познакомившись через меня с Фесенко, он, после первой же с ним беседы, сразу заявил о принятом им решении последовать примеру других.

— Если я до сих пор колебался, — сказал он мне, — то потому, что не желал причинить большое горе отцу: он был еще так недавно крепостным и теперь все мечтает, что я, его сын, сделаюсь доктором, а то чиновником, словом — «барином». Но, видно, придется разбить его мечты, — сегодня же подам просьбу об увольнении.

Вскоре затем он уехал к себе на родину с тем, как он нам сказал, чтобы примирить отца с принятым им решением.

Мы этому очень радовались, так как считали Лаврентьева большим приобретением для нашего лагеря, а раз он бросил гимназию перед экзаменами, — думали мы, — его стремление попасть в привилегированное положение уже затруднено. Что же касается до огорчения, причиненного его размечтавшемуся отцу, то, признаться, мы нисколько об этом не жалели. Мы тогда, вообще, не признавали уместным «жалеть отдельных людей, раз весь народ страдает». И меньше всего способен был вызвать у нас к себе сочувствие бывший крепостной, возмечтавший видеть своего сына «барином».

С'ездив на родину, Лаврентьев вернулся оттуда в сопровождении своей сестры, ставшей, под его влиянием, также социалисткой и пожелавшей вместе со всеми нами «пойти в народ». Чтобы родители не воспрепятствовали осуществлению этого оригинального ее намерения, она и брат заявили им, что для нее в Киеве нашлось хорошее место, в качестве прислуги в знакомой ему семье.

Упомяну еще о двух моих гимназических товарищах, примкнувших к созданному мною и Фесенко кружку. Одного из них фамилия была Решетников, другого, — Янковский. Первый был одним из наиболее развитых, начитанных товарищей, к тому же он выделялся своим, по-видимому, непреклонным, решительным характером.

Янковский был самым юным из всех нас, —

кажется, ему не было полных 17-ти лет. Он также был не по летам развитым юношей, но, в противоположность Решетникову, мягкого, женственного характера, при этом удивительно искренним, стойким и непреклонно преданным. О нем мне еще придется упомянуть впоследствии.

Не буду ничего сообщать о других лицах, с которыми я познакомил Фесенко, отчасти потому, что сам мало успел их узнать, и мне, быть может, совершенно ошибочно казалось, что они ничем не выделялись из обычного среднего уровня.

Довольно скоро приехали и те три товарища Фесенко, о которых он мне раньше сообщил, что пригласит их прибыть в Киев. Наиболее выдающимся из них являлся Тимофей Квятковский, бывший студент-технолог, нелегальный, разыскивавшийся по Большому процессу, — брат Александра, казненного за участие во взрыве, произведенном Халтуриным в Зимнем Дворце. Благодаря своему уму, развитию, а, главное, веселому общительному характеру, он на всех тогда призводил чрезвычайно хорошее впечатление. По натуре он был, что называется, «bon vivant», — человеком, любившим покутить, непривыкшим дорожить деньгами, предпочитавшим, наоборот, как можно скорее и наименее производительно спустить их. Такие его замашки в то ригористическое время, когда чуть ли не каждую копейку другие боялись издержать

зря, так как, мол, она принадлежит народу, — вносили резкий диссонанс и вызывали некоторое недовольство среди особенно строгих на этот счет товарищей. Все же Квятковский пользовался общим расположением и всюду, куда надо было кого-нибудь делегировать, всегда выбирали его вторым, но не первым.

Совсем в другом роде был Сокович, товарищ по петербургскому юридическому факультету Фесенко. Как и Иван Федорович и закадычный друг его Дмитрий Андреевич Лизогуб, Сокович, также будучи на последнем курсе, оставил университет и отправился «в народ», где до того «опростился», что совершенно не сохранил в себе ничего интеллигентного, культурного. Всех своих товарищей он оценивал исключительно со стороны их пригодности к деятельности в народе. Беда, если, по его мнению, данное лицо не соответствовало его идеалу, — не способно было к тяжелому физическому труду и ко всяким лишениям, или, если оно внешностью и манерами не походило на заправского крестьянина: к такому «несчастному суб'екту» Сокович питал глубокое сожаление, смешанное с большой дозой искреннего презрения, — словно то было существо, одержимое самыми ужасными недостатками, а то и пороками. Зато, если накинутая на кого-нибудь из нас поддевка или кожух делал его похожим на настоящего крестьянина, по лицу Соковича разливалось такое довольство, словно он Бог весть что приятное

получил. Сам он, даже живя в Киеве, не скидал с себя крестьянского платья и чревычайно гордился своим сходством с подлинным «мужиком». Ради этого сходства он не только мирился, но прямо ликовал, когда ему приходилось претерпевать оскорбления и даже побои. Так, помню, однажды, возвратившись из какой-то поездки по железной дороге, Сокович рассказал нам, как жандарм где-то на станции понадавал ему тумаков в шею, без всякого с его стороны повода, просто потому, что он ему на глаза попался. Сообщая нам об этой бесцеремонной с ним расправе, он заливался веселым хохотом.

— Чему же ты так рад? — с недоумением спросил кто-то из товарищей.

— Да помилуй: ведь это означает, что жандарм принял меня за настоящего крестьянина! — воскликнул он, и с лица его не сходила радостная улыбка.

Если память мне не изменяет, кажется, в связи с этим эпизодом, мы, еще не «опростившиеся», решили, что Сокович «звезд с неба не хватает»: он, действительно, производил впечатление совсем не интеллигентного человека и, беседуя с ним, решительно не верилось, что ему немного оставалось доучиться, чтобы получить университетский диплом, — до того речи его были просты, а мысли несложны.

Являясь полной противоположностью своему университетскому товарищу — Фесенко, Сокович не питал к последнему ни симпатии, ни особен-

ного уважения: повидимому, между ними еще в университете существовали натянутые отношения, так как каждый из них отзывался о друге в малолестных выражениях. Сокович вообще был раздражителен, придирчив, несправедлив, что, быть может, об'яснялось состоянием его здоровья, — он нередко прихварывал и выглядел слабым, тщедушным человеком. Но, вместе с тем, несомненно, что он являлся одним из самых искренних и преданных народному делу пропагандистов.

Немного общих с Соковичем черт имел приехавший одновременно с ним прямо «из народа» друг его Соколов. Он не был столь узким, односторонним и все решительно, кроме крестьян, забывшим человеком. Довольно умный от природы и, повидимому, очень энергичный, Соколов всегда был в веселом настроении, любил пошутить, рассказать смешной анекдот из жизни крестьян и духовенства, так как среда обоих этих сословий ему, как сыну деревенского священика и бывшему семинаристу, была хорошо знакома. В физическом отношении он тоже резко отличался от своего друга: здоровьем обладал он прекрасным, выглядел красивым деревенским парнем, с лица которого не сходил румянец. Общими с Соковичем чертами были у него та же безграничная преданность народным интересам и то же «опрощение», хотя, как я уже упомянул, и не такое полное, как у его друга. Как и Сокович, также и Соколов,

живя в Киеве, не расставался с крестьянским платьем, которое очень шло к нему.

Эти-то два лица в большей степени, чем кто-либо другой в нашем кружке, достигли того идеала «опрощения», который так высоко ценился нами и, увы! — далеко не всем давался, несмотря на страстное к тому стремление. Как я уже упомянул, Сокович и Соколов прибыли к нам прямо из деревни, в которой, на артельных началах, сообща с несколькими крестьянами, они завели кузницу и занимались пропагандой. Но под конец у них начались какие-то нелады с другими товарищами и, если память мне не изменяет, кто-то на них донес, почему им пришлось бежать, бросив все предприятие. За точность этого не ручаюсь.

V.

Под руководством столь разносторонне образованного человека, как Иван Федорович Фесенко, которого, как я уже упомянул, факультет прочил в профессора, мы, юные члены создавшегося, таким образом, «сектантского» кружка в Киеве, — нас было человек пятнадцать, а, может быть, и несколько больше, — теперь не помню, — занимались «теоретической подготовкой к деятельности среди сторонников рационалистических сект». Подготовка наша состояла в том, что Фесенко, приходя на общую квартиру с литографированными лекция-

ми проф. Зибера по политической экономи, читал нам их со своими коментариями и дополнениями. Сверх этого мы должны были также и сами читать, что в состоянии были достать, о сектантах, к тому же изучать Библию, Евангелие и др. священные книги.

С другой стороны, Сокович и Соколов, как люди, приобревшие «большой опыт», и успевшие, по нашему в то время представлению, «основательно, на практике, а не по книжкам, узнать наш народ» (замечу в скобках, — в сущности, в течение нескольких только месяцев!), — занимались нашей, так сказать, «шлифовкой», т.-е. они давали нам, новичкам, «наглядные уроки», как следует, при тех или иных условиях, вести себя в народе, при чем они сопровождали свои поучения рассказами и сообщениями из их практической деятельности.

Для некоторых из нас, — правда, очень немногих, так как большинство наших сочленов, в качестве уроженцев деревень, сами не хуже Соковича и Соколова знали крестьянскую среду, — даже такие малосодержательные наставления не были совершенно безполезны. Но, само собою разумеется, что одной этой «практической пропаганды» было совершенно недостаточно для выработки из нас сколько-нибудь подходящих практиков, годных для предстоящей нам чрезвычайно сложной и трудной для городского интеллигента деятельности. В этом некоторые из нас, мало жившие раньше в деревнях, и я в их

числе, как ниже увидим, убедились на личном опыте, немало перенесши из-за этой своей неподготовленности тяжелых минут.

Тут мне нужно несколько подробнее остановиться на «плане» деятельности, придуманном Ив. Фед. Фесенко. Он состоял в следующем.

В виду того, что практиковавшаяся раньше так называемая «летучая», «мимолетная» пропаганда, сопровождавшаяся, как известно, переходом из деревни в деревню, не только не дала никаких положительных, но, наоборот, скорее принесла отрицательные результаты, то Фесенко предлагал, выбрав по собственному желанию каждого ту или иную секту, поселиться в ней прочно, надолго.

Для этого каждый, соответственно его индивидуальным способностям, подготовке, свойствам и проч., должен был наметить себе ту профессию, ремесло или занятие, под предлогом которого онъ сможет поселиться среди приверженцев выбранной им для себя секты. Устроившись тем или иным способом в данной среде, мы должны были повести себя так, чтобы сектанты стали уговаривать нас присоединиться к их вероучению. Но, не поддаваясь их увещаниям и просьбам, — хотя прямо, решительно и не отвергая их, мы должны были, в свою очередь, стремиться их привлечь на нашу сторону, т.-е. пропагандировать им наше учение, социализм. При этом нужно было действовать осторожно, искусно, ловко, словом, проявлять спо-

собности тонкого дипломата, являться в своем роде Талейранами. Кроме этих разносторонних талантов, нам, юнцам в большинстве, предлагал Фесенко при всяком удобном случае, обнаруживать, как общие знания о всем, о чем бы ни спросил сектант, так, в особенности, полное и совершенное знакомство со священными книгами, потому что только при всесторонней учености, мы, молодые люди, сможем устоять при спорах с начетчиками, пользующимися, как известно, у раскольников большим авторитетом.

Создав себе, таким образом, «почетное положение» и приобрев сторонников и единомышленников, мы затем могли лицам, наиболее надежным, серьезным и дельным из этих сектантов, открыть наши истинные задачи, цели, стремления. А тех из них, которые оказались бы особенно развитыми и смышленными, нам следовало направлять, уже в качестве самостоятельных пропагандистов и агитаторов, к другим, еще незатронутым социалистической пропагандой сектантам.

Таким образом, в сравнительно короткое время, из нашего небольшого кружка могла бы развиться целая сеть кружков и групп, которые состояли бы частью из одних сектантов, а частью из них и уже ими распропагандированных православных крестьян. А там, смотришь, в короткий срок вся обширная российская равнина, от одного ее края до другого, покрывается сознательными социалистами из трудящихся масс.

Затем при том или ином соответствующем благоприятном стечении обстоятельств, по всей стране пронесется вихрь, который повалит весь современный никуда и ни на что не годный строй...

Что сектанты, при разумной постановке, могут сыграть выдающуюся, колоссальную роль, подтверждением этому, по мнению Фесенко, могло служить их энергичнейшее участие во всех наиболее крупных народных движениях прошлых веков, — в восстаниях Стеньки Разина, Булавина, Пугачева и др.

И этот «план» Фесенко, человек очень развитой, серьезный, умный, которому было уже лет тридцать, а за ним и все мы остальные, среди которых также были бородатые и толковые люди, вовсе не считали «утопией», «химерой» и «фантасмагорией»!

Будучи последователем учения Маркса и Энгельса, Фесенко, тем не менее, на практике отдавал тогда преимущество не фабрично-заводским рабочим, а сектантам. Причиной этой его непоследовательности было то, что, при всем своем отрицательном отношении ко взглядам Бакунина и Лаврова, — Фесенко, в конце концов, все же подчинялся господствовавшему тогда в России мнению, что, в виду ограниченного у нас контингента рабочих и, вообще, особенных условий развития нашей страны, преобладающую роль в долженствовавшей будто бы вскоре произойти революции сможет сыграть не город-

ское, а сельское население. К тому же, как известно, многие тогда считали рабочих — слоем, в сильной степени «испорченным» городской жизнью и, в лучшем случае, допускали, что они могут служить лишь связующим звеном между интеллигенцией и крестьянами для распространения среди последних социалистических идей.

В этом отношении Фесенко, несмотря на свою приверженность к учению Маркса и Энгельса, не составлял исключения, что лишний раз доказывает, насколько окружающая среда оказывает влияние на действия, поступки, планы и пр. отдельных лиц, сколь самостоятельными и независимыми в своих взглядах и суждениях они ни были бы. В сущности, надуманный Фесенко «план» являлся немного лишь измененным проектом его антипода — Бакунина, произвести и России революцию, с тем лишь различием, что, вместо «разбойника», которого проповедник «анархии», как известно, считал самым лучшим революционером, наш последователь Маркса и Энгельса признавал таковым сектанта. Таким образом, знакомство Фесенко с «Капиталом» не имело никакого положительного влияния на сделанный им выбор плана практической деятельности. Оно, правда, дало ему возможность уяснить себе ход капиталистического развития в передовых западно-европейских странах и отчасти помогло ему разобраться во многих неправильных взглядах и планах Бакунина и Лаврова, но это его знакомство нисколько не предостерегло его от других уже самостятельно им надуманных ошибок и утопий.

Мы, юные, а также и более пожилые члены описанного «сектантского кружка», конечно, не могли разобраться в этих непоследовательностях нашего «главаря». Наоборот, мы во всем с ним соглашались, прибавляя, как сейчас увидим, к проповедуемым им ошибочным взглядам еще и другие, заимствованные, главным образом, у Лаврова.

*

Большая комната с земляным и грязноватым полом и давно небелеными стенами, с одной кроватью и двумя-тремя простыми стульями, — такова была «общая квартира», в которой помещалось большинство членов нашего кружка: Фесенко, как состоявший под надзором полиции и, следовательно, всегда ожидавший визита жандармов, продолжал жить в прежней своей комнате; также и некоторые из остальных членов, вследствие разных причин, жили отдельно.

Единственная кровать предоставлена была Соковичу, в виду того, что он часто прихварывал, — его все била лихорадка, что тоже было результатом его «опрощения»: как и большинство наших крестьян, он считал «пустым делом» лечиться, почему и запустил схваченную им в народе простуду. Только после долгих уговоров и настояний этот до невероятности упрямый человек сдался, и мы пригласили врача. Уви-

дев невзрачную обстановку комнаты, в которой, кроме больного, помещался еще чуть ли не десяток молодых людей, врач покачал головой и сказал, что там нельзя его исцелить и посоветовал, как можно скорее, поместить его в больницу или отправить в деревню. Сокович с радостью ухватился за последнее предложение, конечно, имея в виду с наступлением теплых весенних дней пойти в народ.

Заниматься чем бы то ни было, а тем более сколько-нибудь серьезной подготовкой к деятельности среди сектантов, при описанной обстановке, было совершенно немыслимым делом; большая часть нашего времени проходила, поэтому, в разговорах и дебатах по самым разнообразным поводам, главным образом, конечно, по вопросам, связанным с ближайшей задачей — отправкой к сектантам, а также, как сейчас увидим, и относительно «будущего социалистического строя». Даже сближаться, завязывать какие-либо сношения хотя бы с теми представителями народа, которых мы встречали в трактирах, на толкучках и т. п. местах, куда мы считали обязательным ходить для знакомства с народом, нам казалось совершенно излишним, к тому же, и не вполне безопасным в полицейском отношении, в виду предстоявшей нам более важной и продуктивной задачи — деятельности среди сектантов.

Со мною, поэтому, вышло то странное положение, что до знакомства с Фесенко, я, — худо

ли, хорошо ли, — все же, как сообщил в первом очерке, занимался пропагандой одного-двух рабочих каретного заведения. Когда же я сблизился с этим ярым последователем основателей научного социализма, базирующегося, как известно, на рабочем классе, пролетариате, я также махнул на них рукой.

Если, как мы видим, значительны были противоречия между теоретическими посылками и практическими выводами у наиболее солидного и образованного, всеми нами признанного лидера описываемого мною кружка, то не трудно себе представить, какая изумительная смесь понятий, взглядов и стремлений должна была господствовать в головах молодых адептов и последователей марксиста Фесенко. Доказательством этому может отчасти служить, например, такая сценка.

Хотя, как я уже сообщил, Фесенко высмеивал любимые Лавровым темы о «будущем социалистичексом государстве», — как оно будет организовано, как и кем будут исполняться те или другие общественные функции и т. д., — тем не менее разговоры и споры об этих интересных подробностях поднимались среди нас по любому поводу. Вот мимо окон нашей квартиры промчались пожарные.

— А в будущем строе останется теперешнее устройство пожарной команды? — спрашивает кто-нибудь, не обращаясь ни к кому в частности.

— Из современного строя ничто не останется! — уверенным голосом отвечает другой юноша. — Решительно все теперешнее будет уничтожено и совершенно заново организовано.

— Да, так! Но пожары, ведь, будут случаться и при самом совершенном строе, — кто же будет их тушить? — с недоумением вопрошает третий.

— Все здоровые люди обязаны будут являться на место пожара, как это практиковалось у нас в старину и отчасти еще практикуется кое-где в Западной Европе, например, в Швейцарии, — поясняет лицо, побывавшее за границей.

— А, если кто из лени или трусости не прибудет на пожар, как с него будут взыскивать? Ведь ни тюрем, ни полиции, ни наказаний не будет? — продолжает допытываться какой-нибудь любознательный юноша.

— Общественное презрение будет сильнее действовать на всех членов данной общины, чем существующие теперь всевозможные преследования и наказания! — продолжает поучать юнец, много думавший или, вернее, говоривший о подобного рода вопросах.

— Но, ведь, возможно, что некоторые будут вполне равнодушны к тому, какое о них мнение составится у остальных сограждан, — что же с ними станут делать? — не унимается какой-нибудь любитель столь интересного разговора.

— Во всяком случае таких чудаков будет ничтожное количество, отдельные лишь единицы,

и на них будут смотреть, как на людей ненормальных, больных, калек и т. п.

И юноши, не достигшие совершеннолетия, как и лица, давно перевалившие за эту черту, с одинаковым оживлением, а то и с жаром, со страстью спорили о таких деталях, о которых, конечно, не могли знать ничего определенного. Но этот привлекательный, заманчивый «будущий строй», в котором «каждый будет получать по его потребностям, а исполнять по его способностям», всем нам тогда представлялся не за горами, а много-много через одно десятилетие. Поэтому «разрабатывать» его детали являлось вполне естественной и своеобразной задачей не только по мнению юнцов, но, увы! — этим, как известно, занимались и столь солидные и почтенные «властители дум» тогдашней передовой молодежи, как Лавров...

VI.

Описываемый мною кружок, — назовем его «кружком Фесенко», — может иному показаться нетипичным, по своему составу и малой подготовленности, а потому являвшимся исключением из существовавших в ту пору нелегальных, тайных обществ. Но это было бы совершенно не верно. Я имел возможность убедиться, что не только в провинциальных городах, но и в других университетских — в Харькове и Одессе — состав большинства кружков был нисколько не

лучше, если еще не хуже фесенковского. Об аналогичных кружках в других университетских городах я сообщу, вероятно, в одном из следующих очерков. Теперь расскажу об одном провинциальном кружке, с которым наш находился в тесной связи.

Еще до встречи с Фесенко, когда я жил почти одиноким в Киеве, мне пришлось познакомиться с высланным из Петербурга на родину, в Житомир, студентом технологического института, исключенным за участие в происходивших тогда во многих столичных высших учебных заведениях беспорядках.

Это был очень неглупый молодой человек, — фамилию его в точности не помню: кажется, Вольфзон, — довольно развитой и энергичный. После первой же нашей беседы оказалось, что он придерживается совершенно тех же социалистических воззрений, что и я. Мы с ним быстро сошлись и условились, что, как только он осмотрится в своем родном городе, то постарается подобрать там более подходящую молодежь и распропагандирует ее, а я обещал оказать ему в этом содействие привозом нелегальной литературы.

Действительно, по прошествии пары-другой недель, пришло от него подробное письмо, в котором он сообщал о полном успехе в намеченном им себе плане деятельности и настоятельно просил меня приехать с литературой. Я не заставил себя долго ждать: получив от Колодкевича изрядное количество всякого рода нелегальных изданий, я поехал в Житомир.

Тогда еще не было железнодорожного сообщения с этим городом, и приходилось ездить в дилижансе, что представляло своего рода привлекательность и даже поэтичность. Признаюсь, не без самодовольства и гордости посматривал я на свой невзрачный на вид, но туго набитый запрещенными книжками чемодан.

«Что, если бы эти мои попутчики узнали, какие страшные произведения хранятся в нем? — думал я, — попал бы я на каторгу, «как пить дать»! А вот я спокойно беседую с ними, как ни в чем бывало!»

Моему юношескому самолюбию, помню, было чрезвычайно лестно, что вот, мол, я какой смелый, совершаю столь опасную, рискованную поездку. Но все сошло вполне благополучно, как в пути, так и по приезде в Житомир, где я заехал в первую попавшуюся мне гостиницу. Оттуда, несмотря на свою поднадзорность, Вольфзон перетащил меня, конечно, вместе с моим чемоданом, на свою квартиру, — до того мы были беспечны в то отдаленное, «доисторическое» время: в провинции, несмотря на раскрытую незадолго перед тем пропаганду во многих губерниях и последовавший за этим разгром хождения «в народ», полиция, и даже жандармы относились в достаточной мере патриархально, спустя рукава, к своим обязанностям «тащить и

не пущать», что давало возможность существовать нашему брату, социалисту.

Вольфзон познакомил меня с привлеченными им лицами, являвшимися еще большими юнцами и еще менее подготовленными к совершению «полного, беспощадного социального переворота», после которого «ничего из настоящего строя не должно было остаться», чем члены нашего киевского кружка. Этими страшными заговорщиками-разрушителями в Житомире исключительно являлись гимназисты и гимназистки, и, если память мне не изменяет, в их числе, кажется, не было ни одного лица, достигшего совершеннолетия.

Даже меня, также еще не достигшего тогда этого возраста, помню, несколько смутило это обстоятельство: мне казалось не совсем подходящим для той важной работы, которую должны были осуществить мы, социалисты, вербовать чуть ли не мальчиков и девочек, — невольно, поэтому, напрашивалось сравнение с одним из происшедших крестовых походов, участниками которого являлись дети, отправившиеся в Иерусалим освободить гроб Господний. Для полного сходства не доставало только, чтобы впереди житомирских «освободителей угнетенного человечества», так же, как в том средневековом походе, шел барабанщик с козлом. Но, с другой стороны, помню, что куда более меня компетентные и опытные лица, — сами Бакунин и Лавров, не только не отклоняли

юнцов и юниц от преждевременного присоединения к революционному движению, но, наоборот, всячески призывали и поощряли их к этому. Они, как известно, исходили из того соображения, что всякий, сколько-нибудь образованный или даже только грамотный юноша может при искреннем желании принести народу пользу. И, чем раньше он порвет со своей привилегированной средой, тем лучше, — тем, мол, больше шансов, что, окунувшись в «честный трудовой народный океан», он навсегда останется твердым и непоколебимым в усвоенных им в юном возрасте идеалах.

Только проф. М. Драгоманов, также игравший одно время, — в конце описываемого десятилетия, — довольно видную роль в нашей эмиграции, о чем сообщу подробно в одном из следующих томов, восставал против преждевременного привлечения молодежи к практической деятельности. Но он, как увидим, впадал в противоположную крайность.

Теперь вернемся к житомирцам. Не помню, высказал ли я вслух в присутствии некоторых из распропагандированных Вольфзоном юнцов мое смущение по поводу преждевременности их намерения стать «активными революционерами» или я только ему одному указал на это обстоятельство, а он уже передал это другим, но один из наиболее юных его адептов, подросток лет 15—16, с очень умными, симпатичными чертами лица, робко обратился ко мне, оставшись на-

едине, с просьбой уделить ему несколько минут для личной беседы. Когда она вскоре затем состоялась, он сказал мне, что его разбирают сомнения, должен ли он в его годы оставить родителей, гимназию и пр. и готовиться пойти «в народ». Сообщив при этом, что он в 4-м или в 5-м классе и что родители его люди очень состоятельные, он сказал, что последует моему совету.

Припоминаю, что это обращение ко мне, как к вполне взрослому, «степенному» человеку, — хотя, в действительности между моими и его годами была разница всего в два-три года, — доставило мне большое удовольствие, и я самым серьезным образом отнесся к его просьбе.

Расспросив подробно о его семейных условиях, об успехах в проходимых им гимназических предметах, о том, что он уже читал и пр., я решительным тоном посоветовал ему отложить свое намерение на пару-другую лет. Повидимому, для него было совершенно неожиданно это мое решение: зная, вероятно, от Вольфзона, а, может быть, и от меня самого, что только за несколько месяцев пред тем я «отрекся от всего», он был уверен, что я рассею его сомнения и, наоборот, решительно склоню и его на избранный мною путь. В ответ на это его указание, помню, я сказал ему, что я, мол, старше его на столько-то лет, к тому же я ни с кем не советовался, прежде чем принял известное ему решение, и что одни уже его сомнения и колебания на этот счет, независимо от всего прочего, ясно показывают, что он еще не вполне созрел для революционной деятельности. Попытавшись, хотя очень слабо, возразить мне, он окончил благодарностью за данный мною ему совет и повторил, что последует ему. Затем, я совершенно потерял его из виду, а от одного земляка его слыхал потом, что, окончив гимназию, он, кажется, отправился в Петербург, где поступил в какое-то высшее учебное заведение. Скажу здесь, что впоследствии я никогда не жалел ни об этом, ни о других подобных неоднократно случавшихся с моей стороны отговариваниях недозрелых молодых людей от преждевременного присоединения к стану «погибающих за великое дело любви», хотя этим я уменьшал наши ряды. Но я всегда в подобных случаях исходил из того соображения, что, раз в данном юноше или девушке заложено серьезное стремление пожертвовать собою для блага трудящихся масс, они, не взирая на мои отговаривания, все равно, если не сейчас, то в очень скором времени, примкнут к нашему движению. И это лучше: тем более прочным будет их решение. Если же, наоборот, благодаря моему вмешательству, такие лица будут затем поглощены буржуазной средой, к которой они принадлежат, то также целесообразным окажется мое отклонение их, потому что, значит, они по своему легкомыслию, временному увлечению, следовательно, по недоразумению очутились бы в

нашей среде, где, вольно или невольно, могли бы принести много вреда, что, как известно, нередко и случалось.

*

Завязав с Вольфзоном еще более тесную связь и, в общем, оставшись очень довольным этой первой «крайне опасной» поездкой с революционной целью, а также и самим собою, я, спустя несколько дней, вернулся обратно в Киев, где подробно изложил д-ру Эмме и Колодкевичу о всем вышеописанном. Они, кажется, вполне одобрили все мои действия и заявления в Житомире. Возможно, что эта именно поездка внушила мне мысль о преимуществе для меня, вместо Киева, поселиться в каком-нибудь южном губернском городе, от чего, как я выше сообщил, меня отклонил Фесенко.

Ему также, помнится, понравился мой рассказ об установившейся у меня «связи» с революционными элементами житомирской интеллигенции, как мы в таких случаях любили говорить. Когда же затем создался наш кружок, то решено было командировать в Житомир, кроме меня, еще кого-нибудь из его членов, умеющих влиять на молодежь, и выбор пал на Тимофея Квятковского.

Между тем, как первую поездку я совершил осенью, вторую мы с ним предприняли в зимнюю пору. Несмотря на то, что, вследствие недостаточно теплых пальто, бывших на нас, мы изрядно терпели от холода, все же и эта поездка доставила мне огромное удовольствие. Под предлогом согреваться, мы с Квятковским на каждой почтовой станции, где перепрягали лошадей, забегали выпить чай, или «дернуть по маленькой», закусив чем-нибудь особенно вкусным.

Правда, я считал это наше поведение не особенно похвальным, так как, мол, мы изводили «народные деньги на удовлетворение наших утроб», что я и высказал своему товарищу, но он, как мне тогда казалось, путем всякого рода «софизмов», стремился успокоить меня, убеждая, что ничего предосудительного в наших искусственных «согреваниях» нет, что, мол, и «сам народ» в подобных случаях «прикладывается, да еще как». Все же я чувствовал, что на душе у меня неспокойно, совесть моя не чиста и про себя я укорял Тимофея в соблазне, в совратительстве и т. п. грехах, так как ничего такого я не позволял себе в первую свою поездку.

По приезде в Житомир, мы увидели, что кружок Вольфзона значительно увеличился: в его состав, кроме юнцов и юниц, вошло также и несколько совершеннолетних, и в их числе был даже один учитель гимназии, человек средних лет, а также телеграфный чиновник. Из вновь примкнувшей к этому кружку зеленой молодежи внимание наше, — в особенности Квятковского, — привлекла гимназистка Фелиция Шефтель, как своей миловидной наружностью, так

и бойкостью, видимой преданностью революционному делу и решимостью пострадать за него. Год с чем-то спустя, — 6--го декабря 1876 года, — она это доказала, во время знаменитой первой демонстрации на Казанской площади, на которой, как известно, выступил с речью Г. В. Плеханов. Это она, развернув красное знаме, кричала: «вперед, товарищи, за мной!» За это смелое выступление она, в виду ее несовершеннолетия, была приговорена только на житье в Сибирь, а не на каторгу, как ее товарищи-сопроцессники.

Как поклонник женщин, вообще, а красивых — в особенности, Квятковский, увидев изящную, с вьющимися белокурыми локонами гимназистку Шефтель, был, как говорится, обворожен и почти не отходил от нее, стараясь привлечь ее теснее к революционному движению. Помнится, он убеждал ее оставить гимназию и родных, людей очень состоятельных, чтобы немедленно же готовиться к отправке «в народ». Она, кажется, не прочь была последовать его совету, пожелав, однако, предварительно узнать мое на этот счет мнение. Но, как и в описанном выше случае с гимназистом, фамилию которого я забыл, мне и на этот раз совершенно не показалось привлекательным стремление Квятковского склонить пылкую, экзальтированную девочку, почти подростка, — ей было тогда лет шестнадцать, — «сжечь за собою корабли», и я самым решительным образом восстал против этого. Не-

смотря на то, что я на несколько лет был моложе Тимофея, — мне, повторяю, было тогда девятнадцать лет, между тем, как ему 23—24 года, — я, по словам Шефтель и других, производил впечатление более «солидного и серьезного революционера», чем он. Не удивительно, поэтому, что она согласилась с моими доводами: гимназию и семью она не оставила, а через год поехала для поступления на женские курсы в Петербург, где вскоре, как я уже сообщал, и приняла участие в Казанской демонстрации.

Между тем, как Тимофей увивался около симпатичной отроковицы, меня, наоборот, более интересовал учитель гимназии и, вообще, вновь примкнувшие члены кружка. Вступая с ними в беседу, я старался узнать, что их побудило присоединиться к революционному движению, насколько успели они ознакомиться с социалистическими воззрениями, как они себе представляют ближайшие наши задачи и пр. Для более успешного ознакомления с ними я приглашал каждого из них по-одиночке на беседу, почему вскоре некоторые стали острить, что я зову их «на исповедь».

Менее всех остальных, если память мне не изменяет, мне понравился, кажется, учитель гимназии. Как это ни покажется странным, он произвел на нас обоих впечатление малоразвитого человека, недостаточно уяснившего себе наши задачи и стремления, к тому же он казался человеком не энергичным, вялым, неинициатив-

ным и во многом уступавшим даже совсем юным его же ученикам, входившим в тот же кружок.

Только впоследствии, встречая и других учителей, примыкавших к революционному движению, я убедился, что некоторые черты характера были общи всем мне знакомым лицам этой категории: очевидно, как по отношению всех, вообще, профессий верно, что они накладывают свой определенный отпечаток на их исполнителей, так же и учительская не свободна от этого. Более того: то же самое можно сказать и о профессорах, как у нас в России, так и в Западной Европе и Северо-Америк. Соедин. Штатах: всем мне лично знакомым преподавателям, в большей или меньшей степени, были присущи указанные выше свойства житомирского учителя. Вероятно, возня изо-дня-в-день с учениками (или со студентами) и постоянные повторения одних и тех же предметов развивают апатию, узость и неспособность в сильной степени увлечься чем-либо стоящим вне преподавательской сферы. Надо à priori допустить, что между представителями этой профессии бывают исключения, но я не встречал ни единого.

Телеграфный чиновник, помню, также не блистал ни умом, ни развитием, все же он производил впечатление живого, энергичного человека, сейчас же готового все бросить и ринуться на борьбу. Он тут же выразил желание примкнуть к нашему киевскому кружку и просил нас взять его с собою. Но мы с Квятковским предложили

ему, как и другим намеченным нами кандидатам, подождать до получения нашего ответа из Киева, так как кружок нас не уполномочил вербовать новых членов. Чтобы закончить об этих лицах, скажу, что, не дождавшись нашего ответа, они вслед за нами примчались в Киев, и, волей-неволей, мы, считаясь со свершившимся фактом, принуждены были их принять.

Кроме перечисленных мною трех лиц, из кружка Вольфзона запечатлелся в моей памяти еще четвертый, по фамилии Лойко, но я никак не могу вспомнить ни его звания или профессии, ни его возраста, несмотря на то, что из всех житомирцев он на меня, на Квятковского, а потом, кажется, и на остальных членов нашего киевского кружка, куда также и он был принят, произвел наиболее благоприятное впечатление. Действительно, он оказался серьезным, толковым и стойким молодым человеком, что впоследствии и доказал на деле: имя его не раз попадалось мне потом в числе преследовавшихся, высылаемых в Сибирь и пр.

VII.

Аналогичный успех пропаганда социализма имела, как известно, в ту пору не только среди учащейся молодежи южных городов, но также и в других местностях страны. Из обвинительного акта по Большому процессу (193-х) и из воспоминаний современников известны случаи,

когда некоторые участники этой эпохи, — в особенности мировые судьи Сергей Ковалик и Порфирий Войноральский, а также бывший артиллерийский поручик Дмитрий Рогачев и др., — переезжая из города в город по центральной России и по Волге, после одной-двух бесед с наскоро собранной молодежью средне-учебных заведений — гимназий, семинарий, технических училищ, — сразу превращали почти всех сплошь в «революционеров». В качестве иллюстрации приведу сообщение современника о Саратове того времени.

«Зажигательные речи произносились на улицах или в городском саду, в присутствии лиц, совершенно незнакомых пропагандистам, и к делу привлекалось множество молодежи, только что услышавшей о существовании социализма. Результатом этого было то, что пропаганда сразу охватывала очень широкий круг интеллигентной молодежи, служащей и учащейся; социализм (вернее — тогдашний анархизм) в короткое время приобрел множество сторонников» [1]).

Столь неимоверно быстрый повсеместно успех социалистической пропаганды среди учащейся молодежи у нас в описываемое мною время, когда прошел всего десяток лет после уничтожения крепостного права, и страна во всех отношениях являлась одной из наименее куль-

[1]) См. брошюру «Революционные кружки и Саратове» стр. 7, Изд. Вл. Распопова. 1906 г.

турных в свете, об'ясняется, конечно, особенными условиями возникновения и развития в России образованного слоя вообще, и так называемых «разночинцев» — в частности, о чем написано у нас не мало книг и статей. Напомню здесь, к слову, об известном замечании К. Маркса, относящемся, если не ошибаюсь, к шестидесятым годам, что встречавшиеся ему в Западной Европе образованные русские путешественники имели большую склонность к социализму и, вообще, к самым крайним теориям, что, однако, не мешало им, с одной стороны, являться владельцами крепостных душ, а с другой, с течением времени, занимать правительственные должности и превращаться в реакционеров. Тождественное, как известно, повторилось и с огромным большинством учащейся молодежи, наскоро привлеченной к революционному движению первой половины семидесятых годов. Так, тот же анонимный автор цитированной выше брошюры о Саратове сообщает далее, что влияние социалистической пропаганды на большинство примкнувших там было «довольно поверхностно, и через два-три года участники сходок, собравшиеся в 1874 году «итти в народ», преблагополучно поступали на службу и сливались с обывательской массой» [1]). Но, известно, бывали, и далеко не редко, значительно более печальные метаморфозы с недавними крайними адептами

[1]) Цит. брош., та же стр.

революционных движений, как той, так и последовавших за ней эпох.

Возвратимся, однако, к кружку Фесенко.

*

Несмотря на быстрый успех в то время пропаганды социализма среди молодежи, члены нашего кружка, за малым исключением, совершенно не стремились привлекать новых единомышленников даже в наиболее близко к Киеву расположенных крупных городах. Такой индиферентизм к распространению своих воззрений обусловливался, главным образом, преувеличенным нашим взглядом на предстоявшую нам вскоре более важную миссию — привлечь к социализму сектантов. Отчасти также наше равнодушие к увеличению наших рядов вызывалось и материальными причинами — необходимостью не только содержать в течение периода подготовки к деятельности, но и снарядить всем необходимым уходивших в народ, что требовало много расходов. Между тем, личных средств почти ни у кого из членов нашего кружка не было, и все мы существовали исключительно на средства Дм. Лизогуба, также числившегося членом нашего кружка. Скажу здесь о нем пару слов.

Мы с ним расстались в тот момент, когда жандармы с границы отправили его в Черниговское его имение. Невыразимо тяжело ему было

жить там: вследствие приказания свыше местная полиция установила за ним самый строгий надзор — следила за каждым его шагом, задерживала всякого вновь приезжавшего и т. д. Эта назойливая слежка чрезвычайно раздражала Лизогуба, так как лишала его всякой возможности делать что-либо, чем-нибудь заняться.

Между тем, лишившись родителей, он вместе с меньшим братом стал обладателем довольно крупного недвижимого имущества, которое нелегко было скоро реализовать, чтобы вырученные за него средства предоставить на дело революции. В то же время малейший неосторожный шаг его мог вызвать применение к нему исключительной меры, вроде конфискации имущества, учреждения опеки и пр. Поэтому, Лизогуб считал себя обязанным не подавать к этому никаких поводов. В виду этих обстоятельств, он не только должен был мириться со скучной, монотонной жизнью в своей деревне, вдали от близких, без всякого практического дела, но также безропотно подчиняться мелочным и крайне нелепым придиркам разных старост, сотских и десятских. Ему приходилось также прибегать ко всевозможным ухищрениям, чтобы поддерживать переписку со своим другом И. Ф. Фесенко, который всегда старался держать его в курсе дел. Фактически личное его участие ограничивалось, поэтому, одним лишь снабжением нашего кружка средствами, к тому же, — в силу, как я уже упомянул, трудности

реализовать имение, — в довольно ограниченных размерах.

Свидания с ним считались чрезвычайно рискованными предприятиями, а потому за все время существования нашего кружка их состоялось всего два. На второе из них, в виду выраженного Лизогубом желания в письме к Фесенко, отправился я.

Согласно сообщенной им инструкции, мне надо было поехать определенным поездом и, прибыв на указанную им станцию, выйти на двор и позвать там кучера Селифана.

Проделав в точности все, что им изложено было в письме, я, однако, никого не нашел на станционном дворе. Обстоятельство это меня тем более встревожило, что я рассчитывал получить деньги от Лизогуба. Я не имел с собою никаких, потому что их не было ни у кого из товарищей. Поэтому я не только не мог купить билета на обратный путь, но у меня их не было даже на то, чтобы выпить в буфете стакан чаю. Вещей с собою я также не взял никаких. К тому же станция находилась вдали от деревни, в совершенно пустынном месте. Но, полагая, что Селифан мог почему-либо опоздать, я растянулся на скамье зала 3-го класса, как бы в ожидании ночного поезда.

На душе и в желудке скверно было: вместо приятной беседы за закуской с «Дмитрием», о котором я так много уже знал от Фесенко и др., пребывание натощак неопределенное время на

пустой станции, понятно, ничего привлекательного не представляло. В голову приходили всякие тревожные предположения и опасения.

Между тем, поезд, с которым я приехал, вскоре ушел; немногие прибывшие с ним пассажиры, а также и ожидавшие его прибытия лица исчезли, и на станции остался только сторож да я.

Но вот со двора вошел какой-то довольно просто одетый человек, с ружьем за плечами и стал о чем-то разговаривать со сторожем. Не желая часто выходить во двор наведываться, не приехал ли Селифан, чтобы не обратить на себя внимание сторожа, я спросил этого человека, не заметил ли он подводы с кучером?

— Идем за мною! — услыхал я в ответ таинственный шепот.

— Так вы — Селифан? — с изумлением спросил я, последовав за ним.

— Нет, я — Дмитрий!

Не могу передать, до чего поразил меня этот ответ: при той осторожности, которую Лизогуб, как я уже сообщил, соблюдал, мне никак не могло притти на ум, чтобы вместо Селифана он решился сам поехать меня встречать на станцию. Оказалось следующее.

Уже после отправки письма с подробной инструкцией о моем приезде, Лизогуба все же стали разбирать опасения, не подвергнет ли он меня риску поездкой к нему в деревню, и он решил, поэтому, изменить план свидания со

мною: сообщив прислуге, что идет поохотиться, он отправился на железнодорожную станцию, до которой от его имения было пятьдесят с чем-то верст, но немного опоздал к приходу поезда.

Была довольно прохладная ночь: стояла ранняя весна, и снег не везде еще стаял. Между тем, нам с ним некуда было зайти, чтобы погреться и закусить, — как он, так и я с утра ничего не ели. Мы, поэтому, принуждены были всю ночь на-пролет гулять по полям, изредка лишь присаживаясь на подмерзших бугорках, а то и просто на земле. Чтобы рассмотреть наши лица, мы освещали друг друга спичками.

Ему на вид было лет 25—26. Среднего роста, с небольшой белокурой бородкой, тонкий, стройный, Лизогуб походил на военного. В наружности его не было ничего достопримечательного или выразительного: он производил впечатление совершенно заурядного, неоригинального человека. Только после знакомства удавалось заметить, что под этой простой внешностью скрывается удивительный, редкий человек, даже в ту пору, столь богатую у нас замечательными людьми.

Без всяких предупреждений, как тогда это часто водилось, Лизогуб прямо стал говорить мне «ты», и наша беседа сразу приняла самый непринужденный, приятельский характер, — словно мы давным-давно знали друг друга и вновь свиделись после долгой разлуки. Так отчасти оно и было, потому что Фесенко, как я

уже сказал, познакомил его со мною в письмах, а меня с ним путем устных рассказов. Отчасти, благодаря, таким образом, подготовленной почве, но в особенности, вследствие исключительного склада характера Лизогуба, — необыкновенной его искренности, прямоты и откровенности, — мне в одну ту ночь удалось узнать его ближе, чем при других условиях это происходит после продолжительного знакомства. С той ночи до самой его казни, происшедшей пять лет спустя, мы оставались приятелями.

Во время этой первой нашей продолжительной беседы для меня выяснились многие его взгляды. Так, подобно Фесенко, Лизогуб тоже нисколько не идеализировал крестьян, в особенности, своих украинцев. Помню, например, с каким тихим и вместе добродушным смехом он рассказывал мне о разных случаях, когда его земляки старались его провести, и по просту — обмануть, надуть, чтобы получить от него ту или иную выгоду, и как его же они называли «дурнем», когда им это удавалось. Но он тут же с грустной ноткой в голосе прибавлял, что от аналогичных приемов нередко не свободен и свой же брат, революционер, пускающийся на мелкие хитрости и обманы, чтобы получить от него какую-нибудь незначительную сумму под тем или иным вымышленным предлогом. Впоследствии, в таких случаях, он без всякой злобы по просту говорил «охота тебе пускаться на хи-

трости и говорить неправду, — прямо бы сказал, что нужно столько-то на то-то».

Строгий до педантизма к себе самому, Лизогуб, наоборот, был необыкновенно снисходителен ко всяким слабостям других. Известный его ригоризм, вызывавший нередко насмешки товарищей, — так, будучи в Петербурге и в других больших городах, он делал огромные концы пешком, чтобы не истратить на конку и извозчика, — обусловливался не столько реакцией, происшедшей в нем с тех пор, как он стал социалистом, против прежнего барского образа его жизни, сколько по истине благоговейным отношением его к поставленной им себе цели — посвятить себя и все свои средства делу освобождения обездоленных масс. Эта цель заполнила все его помыслы и стремления, стала для него своего рода религией. Обладая значительными материальными средствами, Лизогуб, как известно, в буквальном смысле слова, отказывал себе в самом необходимом: питался когда и чем случится, не обращал никакого внимания на свой поношенный костюм и т. д. При этом, — в чем каждый легко вскоре убеждался, — ригоризм Лизогуба нисколько не являлся деланным, искусственным: он иначе не мог жить и вести себя. Не даром лица, знавшие его, находили во всем складе его нечто не от мира сего и прозвали его святым...

О многом в ту ночь мы с ним переговорили,

между прочим, конечно, и о предстоявшей в близком будущем «социалистической революции», а также о «плане» деятельности среди сектантов, который и в нем не вызывал никаких сомнений, — он и ему казался вполне разумным, целесообразным и практичным.

Мы распрощались с первым проблеском утра.

VIII.

Наступила весна, которую мы ждали с большим нетерпением, чтобы, наконец, отправиться в народ, так как жизнь в Киеве, при полном почти бездействии, надоела всем до чортиков. Но оказалось, что мы все же не можем двинуться в путь, так как, несмотря на все старания, еще не раздобыли необходимых бланок для крестьянских (конечно, фальшивых) паспортов.

Эта неудача повергла многих из нас чуть не в отчаяние. Но вот один из товарищей-евреев, которому почему-то дали кличку «Мордохай», явившись на общую квартиру, сообщил, что брат его, делец, коммерсант, снабдил его рекомендательным письмом к какому-то еврею в Бердичев, через которого можно приобрести нужные нам паспортные бланки.

Чрезвычайно обрадовавшись этому сообщению, товарищи, не помню почему, решили, что наиболее подходящим для выполнения этой миссии

человеком являюсь я: к этому заключению, вероятно, склонил их удачный исход прежних моих поездок. Я не заставил себя долго уговаривать, так как охотно исполнял всякие поручения кружка, к тому же не предполагал, чтобы из этой поездки могло выйти для меня что-либо неприятное. Действительность, как сейчас увидим, не оправдала моего предположения.

Прибыв в Бердичев на рассвете следующего дня, я прямо с вокзала отправился по полученному мною адресу еврея. Он, оказалось, жил на самой окраине в полуразрушившемся домишке с продырявленной крышей и покосившимися стенами. Наружный вид этого жилища не внушал особенного доверия к его обитателям, но я несколько примирился с ним, когда вступил внутрь: несмотря на ранний час, в двух проходных комнатах было уже прибрано, и все в них выглядело, хотя крайне бедно, но чисто, аккуратно. Сами же хозяева, которых я застал за утренним чаем, сразу расположили меня в свою пользу.

Оба они бросались в глаза своим здоровьем и симпатичным внешним видом. Выше среднего роста, прекрасно сложенные, с правильными восточными чертами лица, они представляли на редкость удачную молодую чету, у которой под стать был такой же чудесный бутуз-первенец. К этим внешним физическим их чертам, помню, присоединилось и то, что оба недурно говорили по-русски, что мне также понравилось, так как

в Бердичеве, почти сплошь тогда населенном евреями, господствовал жаргон.

Предложив мне присоединиться к их скромному, но чисто сервированному хозяйкой завтраку, еврей, фамилию которого я забыл, — назову его Фарманом, — спросил, в чем состоит мое дело. В ответ на мое заявление, что я желал бы поговорить с ним наедине, он сказал, что у него нет никаких секретов от жены. Когда я сказал, что мне необходимо раздобыть, как можно скорее, несколько десятков паспортных бланков, молодая эта чета нисколько не удивилась странности «товара», для приобретения которого меня к ним направили.

Выслушав внимательно мое сообщенне, супруги Фарманы стали тут же при мне обсуждать его на жаргоне, при чем произносили неизвестные мне фамилии и имена лиц, к которым, мол, следует обратиться: не знают ли они, где можно достать нужный мне оригинальный «товар».

Затем, после короткого семейного совещания, супруг заявил, что пойдет на разведки; мне же он предложил пока отдохнуть с дороги, так как я провел ночь в пути почти без сна. Я, однако, не воспользовался его любезным предложением, а стал беседовать с его женой: несоответствие их, — в особенности ее, — привлекательной внешности, а также и обхождения, с крайне убогой обстановкой их жилища — удивляло меня и вызывало желание узнать, чем

добывают они средства к существованию. Но, на мой об этом вопрос, я не получил от нее никакого определенного ответа. Ясно было, что источники у них были непрочные, случайные, как и огромного большинства моих единоплеменников.

Признаюсь, — дело это давнее, происшедшее «на заре туманной юности моей», — несмотря на присущий большинству из нас, тогдашних социалистов, и мне в том числе, ригоризм, я с большим удовольствием беседовал с этой молодой красавицей, моей ровесницей. Разговаривая, она что то делала по хозяйству; при этом движения ее были грациозны, быстры, походка легкая. «В изящном костюме и в соответствующей обстановке она производила бы поразительное впечатление», — помню, думал я, следя за нею.

Незаметно прошло немало времени, пока вернулся Фарман. Он сообщил, что видел одного знакомого еврея, который знает какого-то служащего в мещанской управе, где он заведует паспортным столом, и оттуда за соответствующее вознаграждение мог бы утащить нужное мне количество бланков. Но на беду этот паспортист куда-то уехал на пару дней. Фарман предложил мне, поэтому, на выбор: ожидать в Бердичеве его возвращения или поехать с ним в Житомир, чтобы попытаться там достать нужные мне бланки, заявляя, что у него там имеются некоторые связи.

Зная, в каком нетерпении находятся мои товарищи в Киеве и желая, поэтому, поскорее вернуться обратно, я предпочел отправиться с Фарманом в Житомир, куда, если память мне не изменяет, верст 50 на перекладных, — тогда эти города еще не соединялись железнодорожной веткой.

Когда я выразил готовность ехать, то заметил, что супруги о чем-то в стороне пошептались, после чего Фарман обратился ко мне с просьбой показать им, имею ли я необходимые для приобретения нужного мне товара, сравнительно, большие деньги.

— Вы извините меня, г-н, — не помню, какой русской фамилией я им назвался, — вы еще такой молодой человек, дела вашего я не знаю: может быть, у вас в Житомире не окажется денег, а я задаром потеряю время.

Я нашел это соображение основательным и, вынув бумажник, плотно набитый кредитками разного достоинства, показал им его, особенно обратив их внимание на сторублевки. По лицам их разлилось чрезвычайное довольство, словно я не только показал, но и поделился с ними моими деньгами. И раньше того проявлявший чрезвычайную подвижность, быстроту и энергию Фарман, теперь, возбужденный видом большой суммы денег, пришел чуть не в экстаз: он уже не шел быстрой походкой, а почти-что бежал, хватаясь за те или другие предметы и вещи, будто бы могущие нам оказаться нуж-

ными в пути и по приезде в Житомир. При этом он время от времени посматривал на меня такими умиленными, заискивающими глазами, какими смотрит на своего хозяина собака, видящая его сборы на прогулку или охоту.

Тактичная жена его столь открыто не проявляла своей радости по поводу моего богатства. Она, помню, посоветовала мне получше припрятать бумажник: «знаете, вы еще так молоды, а в дороге все может случиться», — сказала она.

Между тем, как супруг, словно на крыльях, полетел на почтовую станцию заказывать подводу, я вновь остался с его милой женой, готовившей нам какую-то закуску перед отъездом.

Мы двинулись в путь. Стоял чудесный весенний полдень. Вдоль дороги тянулись покрытые разнообразными хлебами поля, и воздух напитан был всякими ароматами.

От всего этого я, несмотря на усталость, чувствовал себя бодрым, беззаботным, спокойным. Некоторое время мы ехали молча.

— Позвольте вас спросить, — обратился ко мне мой попутчик, — вот я все смотрю на вас и удивляюсь, как это вы так спокойно едете?

— А почему же бы мне ехать неспокойно? — изумился я, совершенно не поняв его вопроса.

— Да, как же: вы еще такой молодой человек, и у вас так много денег; как же вы не боитесь, что вас могут ограбить?

— Нет, я этого не боюсь, — меня никто не ограбит! — сказал я уверенным тоном.

— Почему? — в свою очередь удивился он.

— А вот почему, — ответил я, вынув из кармана заряженный револьвер.

Этот аргумент произвел на моего попутчика сильное впечатление.

— Да, вы правы, — с этим можно никого не бояться, — согласился он, — но я все же не могу сообразить, — что вы за человек и зачем вам нужны паспортные бланки?

— Этого вам нельзя знать, — ответил я.

*

В Житомире мы заехали в гостиницу. Фарман отправился по своим связям, а я, опустив шторы, лег спать. Не знаю, много ли прошло времени, только сквозь сон я услыхал, что дверь тихо открылась, и на цыпочках вошли в номер. Едва приоткрыв глаза, я увидел, что то был Фарман с тремя евреями разных мастей. Желая узнать, о чем будут они говорить, я прикинулся крепко спящим.

— Совсем молодой человек! — заметил один.

— Что он — христианин («а гой»)? спросил другой.

— По виду и по фамилии христианин, — ответил Фарман.

— И у такого юнца, говорите вы, полный бумажник?

— Туго набитый и все «екатеринки», — мы с женой ахнули, когда он нам его показал.

— Ну, зачем ему поспортные бланки, — никак не могу понять!

— Знаете что? — обратился один едва слышно шепотом, — давайте, отнимем у него деньги.

— Что вы, что вы! — воскликнул с тревогой Фарман: у него заряженный револьвер.

Я потянулся, сделав вид, что проснулся, и встал.

Потолковав затем с этими «дельцами» и убедившись, что никто из них не имеет возможности раздобыть бланки, я предложил Фарману вернуться в Бердичев, где, по его словам, была надежда через пару дней достать их.

Когда мы затем вновь ехали с ним на перекладных, я спросил его, что за люди, — хорошие ли, честные, — те, которых он привел в номер?

— Честнейшие евреи! — заверил он меня.

— Ну, а грабить меня никто из них не собирался? — спросил я самым простым тоном.

— Что вы, как можно грабить! — воскликнул он, как бы приходя в ужас от одной мысли.

— Я слыхал весь ваш разговор и все понял, — ведь я еврей, — признался я.

Мой попутчик, страшно сконфузившись, стал говорить, что еврей, предложивший отнять у меня деньги, известный в Житомире плут, мошеник, на все способный, но, мол, другие два честнейшие люди.

— Так зачем же вы имеете дело с таким плутом?

— Приходится, знаете, и с такими якшаться: через такого иногда скорее обделаешь иное дело, чем через честного.

Вновь приехав в Бердичев, я велел ямщику подвести меня к гостинице, в которой снял номер. Расставаясь с Фарманом, я условился с ним, что на следующий день буду у него в определенный час и что тогда же должен притти к нему тот еврей, который знает паспортиста мещанской управы.

В назначенное время я, действительно, застал этого посредника. Невзрачный на вид, очень бедно одетый, он произвел на меня впечатление жалкого, перебивающегося, как говорится, с хлеба на квас, человека, менее даже обеспеченного, чем Фарман.

Еще сутки пришлось мне провести в Бердичеве в полном бездействии, в ожидании возвращения паспортиста. Знакомых решительно никаких в этом городе я не имел. Не только о единомышленниках-социалистах, но даже мне не приходилось слышать, чтобы в то время так называемые «сочувствующие» водились в этом большом промышленном городе. Ни об обысках, ни об арестах не слышало мирное местное население и потому решительно ничего не знало о начавшемся в других местах хождении в народ, в чем вскоре я лично убедился. Книг с собой я также не захватил, так как предполагал, что эта поездка будет непродолжительна. Поэтому я испытывал изрядную скуку в Бердичеве.

Наконец, возвратился паспорист, но, как сообщил еврей-посредник, он боится иметь непосредственные сношения со мною, человеком ему совершенно незнакомым, и он предпочитает, оставаясь в тени, вести дело через него, еврея. Пришлось, конечно, примириться с этим. При следующем свидании, этот еврей сказал, что паспортист согласен стащить нужное мне количество бланок, — помнится, я сказал 30 штук, — по 10 руб. за каждый. На эту цену я согласился, хотя по тому времени она являлась большой. Еврей удалился, а затем, снова пришедши спустя некоторое время к Фарманам, заявил, что паспортист бланки стащил и согласен передать их только ему непосредственно с рук на руки в обмен на деньги.

Выходило, следовательно, что я должен доверить совершенно незнакомому мне еврею, к тому же не внушавшему мне своим внешним, обтрепанным видом доверия, такую большую сумму, как 300 руб. Я наотрез отказался. Тогда все трое, — красивая жена Фармана принимала самое активное участие во всех этих переговорах, — стали доказывать мне, что не может же, действительно, паспортист отдать бланки с тем, что ему еврей потом принесет деньги. «А, вдруг, он не принесет? Не привлечет же он еврея к суду?» Между тем, похитив бланки и совершив этим тяжелое преступление, он, естественно, желает награду за риск. Хотя все эти доводы казались и мне основательными, все

же я не хотел рисковать большой суммой общественных денег. Получился безвыходный круг.

— Как быть? Что предпринять? — помню, задавал я себе вопросы.

Видя мое решительное несогласие, кто-то из них предложил мне дать еврею только на пять бланков, с тем, что, когда он их принесет, я ему вновь дам 50 руб. и т. д. Я, однако, колебался рискнуть и этой суммой, но, взглянув на симпатичную г-жу Фарман, внушавшую доверие, я спросил ее, могу ли дать ему 50 руб. — «Можете, — ручаюсь вам, что он не обманет, — мы с мужем давно его знаем, — он честный еврей», — сказала она. Я вручил ему деньги.

Он ушел, а я остался ждать его возвращения. Но час проходил за часом, еврей не являлся. Потеряв надежду дождаться его, я попросил Фармана пойти за ним. По прошествии довольно долгого времени он, вернувшись, заявил, что нигде не нашел того. Словом, я больше уже не видел ни этого еврея, ни, конечно, взятых им денег.

Меня повергло это в крайне тяжелое, угнетенное состояние: кроме огорчения по поводу потери общественных средств, в сильной степени было также задето и мое самолюбие, что я дал себя так обмануть. Я желал и как-нибудь поправить дело, — хотел, если уже нельзя вернуть эти 50 руб., то все же попытаться достать бланки, без которых считал невозможным приехать в Киев.

Фарман, в ответ на мои упреки и заявления, что он сообща с тем евреем выманил у меня деньги, божился и клялся всеми святыми, жизнью своей жены и ребенка, что он неповинен в этом обмане. Вид у него, действительно, был удрученный, и твердой уверенности в правильности моего подозрения на его счет у меня не было. К жене же его я испытывал такое неприязненное чувство, что не хотел более видеть ее, а потому перестал к ним ходить, но он ежедневно ко мне являлся.

Однажды вечером Фарман пришел ко мне в сопровождении какого-то господина средних лет, чрезвычайно элегантно одетого, выглядевшего джентльменом. Назвав свою фамилию и заявив, что Фарман ему все обо мне рассказал, он сообщил, что у него имеются разнообразные связи, через посредство которых он может достать нужные мне бланки.

В полную противоположность ко всем прежде представленным мне Фарманом евреям, вид у этого джентльмена был самый изысканный, — в золотых очках, с бриллиантовыми запонками, перстнями, булавкой и пр. К тому же говорил он не только хорошим русским, но вполне интеллигентным языком. Со мною держал себя умно, корректно, например, задавая вопрос, сопровождал его всякими извинениями и заявлениями, что не желает быть навязчивым, но, что, мол, ему то или другое нужно знать в интересах моего же дела. Фармана же буквально третировал, как лакея, а тот относился к нему с заискивающим подобострастием, боясь произнести слово, и не решался сесть в его присутствии.

— Как набрели вы на эту банду? — спросил он меня, между прочим, указав на жавшегося у стены несчастного Фармана. — Разве эти люди могут что-нибудь сделать? Им лишь бы выманить десяток-другой рублей, — с них этого довольно! Я возмущен до глубины души, что они так с вами обошлись.

— Право же, я не виноват, — заметил робко Фарман.

— Молчите, не вмешивайтесь! — резко оборвал его изящный джентльмен. — Так вот, — продолжал он, вновь обратившись ко мне, — вам нужны паспортные бланки. Я вам их достану и совершенно безвозмездно, но одно условие...

— Фарман, вы больше не нужны, — уходите! — прервал он себя и, когда тот ушел, продолжал:

— Будемте откровенны! Мы с вами люди интеллигентные и можем скоро и легко понять друг друга. Для меня совершенно не существенно получить с вас несколько сот рублей за бланки, и я охотно сам дам эту сумму, если понадобится. Но мне необходимо знать, зачем вам нужны эти бланки, да еще в таком большом количестве? Это не пустое любопытство с моей стороны. Я ведь вижу, с кем имею дело. Сколько ни напрягаю мысль, никак не могу сообра-

зить, в чем состоит то предприятие, для которого вы хотите их приобрести. Одно для меня несомненно, что это какое-нибудь крупное финансовое, коммерческое предприятие, обещающее, вероятно, большую выгоду, — не так ли?

— Совершенно так, — подтвердил я, с трудом удерживаясь, чтобы не рассмеяться.

— Ну, вот, видите, я отгадал, — продолжал он с самодовольной улыбкой. — Так посвятите же меня в ваше предприятие, и я обязуюсь безвозмездно доставить нужное вам количество бланков.

С трудом придумывал я причины, почему не могу согласиться на его предложение, а это еще более заинтриговывало его и вызывало у него новый поток красноречия.

Он бился со мною до позднего часа ночи; затем вновь дважды приходил на следующий день. Он строил разные предположения относительно того, в чем должно было состоять наше «предприятие»; все они были курьезны и, конечно, ничего общего не имели с нашим намерением отправиться «в народ», о чем в то время еще не знал этот бердичевский делец.

В качестве последнего довода, против которого, как он, вероятно, предположил, я уже никак не смогу устоять, он выразил заранее готовность войти в наше «общество» и стать «пайщиком» нашего «предприятия».

На высказанное мною изумление, как может он, не зная, в чем дело, давать на него свое со-

гласие, так как, положим, мы составили шайку грабителей, — этот проницательный человек уверенным тоном заявил, что решительно не допускает ничего подобного с моей стороны. «Вы человек благородный, — на худое дело не пойдете», — сказал он уверенным тоном.

Так как я наотрез отказался «привлечь» его к нашему «предприятию», то он, потеряв, наконец, надежду склонить меня, также отказался помочь мне раздобыть бланки. Поэтому, сколь ни тяжело было мне вернуться ни с чем, ничего другого не оставалось [1]).

— Хорошо, что так обошлось, — могла эта твоя поездка еще хуже окончиться, — так утешали меня некоторые из товарищей, когда, по возвращении, я передал им вышеизложенное.

*

В виду невозможности раздобыть бланки, мы решили отправиться в народ с краткосрочными видами, каковые тогда писались на обыкновенной, простой бумаге, с тем что, когда удастся двум-трем думавшим остаться в Киеве товарищам получить кем-то еще обещанные нам бланки, они тогда вышлют годичные или полугодич-

---

[1]) Два с чем-то года спустя, когда меня, арестованного по чигиринскому делу, привезли в киевскую тюрьму, я во время прогулки увидел Фармана в арестантском халате. Оказалось, что взяли его с шайкой фальшивомонетчиков. Был ли в их числе и элегантный джентльмен, мне не известно.

ные паспорта нам, лицам, собравшимся раз'ехаться по деревням.

Еще две, к тому же значительно большие неприятности, чем постигшая меня неудача, случились перед самой нашей отправкой в народ.

Тимофей Квятковский, которого, как я выше упомянул, давно разыскивала полиция, был, благодаря собственной своей неосторожности, арестован при его выходе из одного дома, за которым установлена была слежка. Кроме огорчения по поводу грозившей ему тяжелой участи, нас естественно, — особенно первое время, — тревожило опасение, что при нем могли найти какую-нибудь нить, указывавшую на существование нашего кружка, и, таким образом, не только рухнул бы весь наш план, но и мы все очутились бы в тюрьме. По счастью, полиция ограничилась одним его арестом. Убедившись в этом, мы поторопились закончить наши сборы к отправке в народ.

Другая крупная неприятность постигшая нас, была «внутреннего характера», и, как это ни покажется странным, она вызвана была, главным образом, самым солидным, пожилым и образованным из нас, — Иваном Федоровичем Фесенко.

Юношески восторженное, почти благоговейное отношение, которое вначале он к себе внушал, по мере более близкого с ним знакомства постепенно исчезало, так как многие из нас убе-

ждались, что наряду с крупными достоинствами, Фесенко имел также немало недостатков. Главными из них являлись крайняя его требовательность, придирчивость и прямо несправедливое отношение его к некоторым товарищам.

В начале каждого знакомства Фесенко склонен был видеть в новом человеке много такого, что у последнего имелось лишь в самых гомеопатических дозах. Убедившись в своей ошибке, но сам не сознавая этого или, во всяком случае, не признавая этого вслух, Фесенко всю вину валил на данное лицо и не только свергал им же высоко недавно поднятого человека стремглав в пропасть, но и сам опускался за ним туда, наделяя его еще тяжелыми ударами.

Характер ли его, в связи с начавшимся тяжелым болезненным процессом, или неудовлетворенность сложившимися условиями его жизни были тому причиной, но временами Иван Федорович, не смотря на все его выдающиеся качества, бывал крайне несимпатичен. Считая себя значительно выше всех нас, — чего никто из нас не оспаривал, — он не только резко это подчеркивал, что одно уже не говорило в его пользу, — но на этом основании он не допускал ни малейших противоречий: почти всякое несогласие с ним приводило его в чрезвычайное раздражение. А тогда он не знал уже никакого удержа и сыпал колкости и резкости без конца. Его манера спорить, даже когда по существу он бывал прав, являлась столь грубой

и неприятной, что никто из присутствовавших и непричастных к диспуту лиц не становился на его сторону, а это, в свою очередь, его чрезвычайно раздражало.

Начавшиеся с Соковича, — у которого, как я уже упомянул, никогда, вероятно, не было расположения к Фесенко, — резкие столкновения по поводу тех или других разногласий произошли у Ивана Федоровича затем и со многими членами им же, главным образом, и подобранного кружка. Когда он совершенно не двусмысленно давал понять своему противнику, что считает его человеком «неразвитым», а то «ограниченным» или даже «ничтожеством», то тот, разумеется, обижался и в запальчивости, в свою очередь, отвечал какими-нибудь грубостями.

Поэтому, весной, ко времени отправки в народ, за исключением четырех-пяти лиц, в числе которых был я, мой друг Іосиф Щепанский и Лаврентьев, — почти со всеми остальными Фесенко или вовсе не разговаривал, или сохранил лишь официальные отношения. Нечего и говорить, что занятия его с нами по политической экономии задолго до того прекратились, а затем он вовсе перестал бывать на общей квартире.

Все это создало в кружке самое гнетущее настроение. Почти все стали друг другу в тягость и только о том мечтали, как бы скорее вырваться из этой затхлой атмосферы на широкий простор, в «гущу народную», — к сектантам.

*

Еще задолго до нашего выступления в народ составились, по взаимному соглашению, группы или пары, избравшие для себя ту или иную рационалистическую секту. Наибольшее число товарищей отправилось разыскивать так называемых «бегунов», которых имевшиеся у нас источники изображали самыми интересными и привлекательными чертами: они, мол, не признают существующего государственного строя, отказываются от воинской повинности и уплаты податей, не берут паспортов и пр. Словом, «бегуны» представлялись нам, если не вполне сознательными социалистами, то, во всяком случае, очень близкими нам по духу и настроению. Беда была лишь в том, что наши литературные источники не указывали, где именно обретаются эти интересные сектанты. Поэтому лица, избравшие ареной своей деятельности «бегунов», отправлялись на авось, в низовья Волги, в Царицын, надеясь как-нибудь там разузнать и разыскать этих решительных протестантов из народа.

Несколько меньшее число членов нашего кружка, — преимущественно украинцы, — направились к штундистам, — молодой тогда секте, лишь незадолго пред тем появившейся в Херсонской и Киевской губерниях, точное местопребывание и учение которой было нам известно. Наконец, человека три или четыре остановили свой выбор на молоканах. В числе этих лиц был и Фесенко. Но, отчасти, вслед-

ствие упомянутых мною выше натянутых отношений, установившихся у него с большинством, отчасти также и вследствие его желания не быть никем и ничем связанным в своей работе, он, единственный из всех нас, не составил никакой группы, а также не избрал себе компаньона и отправился к сектантам один.

При этом он не взял с собою фальшивого вида, ограничившись собственным свидетельством из семинарии, так как в то время такой документ считался вполне достаточным. Фесенко также не нарядился, — как это сделали все мы, остальные, — в крестьянское платье, а лишь натянул на себя какой-то длинный балахон, в котором выглядел не то прасолом, не то послушником; в этом виде, — полагал он, — ему в случае провала скорее удастся выпутаться из беды, чем если бы он попался в крестьянском платье и с фальшивым паспортом. В следующем очерке мы увидим, в какое траги-комическое приключение превратилось его намерение распропагандировать сектантов.

Как мы в народ ходили[1]).

I.

Я со Щепанским отправился к молоканам. Почему наш выбор пал на эту секту, я решительно не могу теперь об'яснить: может быть, благодаря литературным материалам, находившимся в нашем распоряжении, молокане представлялись нам особенно интересными, а возможно, что и по каким-либо другим соображениям мы на них остановились. Раньше чем сообщу о всех наших приключениях во время этого хождения в народ, скажу пару слов о моем школьном товарище и попутчике.

Иосиф или «Юзек», как его звали близкие, очень мало напоминал библейского юношу, проданного братьями: высокий, тонкий, со впалой грудью и бледным лицом, густо покрытым веснушками, он выглядел слабосильным, тщедушным, невзрачным парнем. Но за то он отличался боль-

---

[1]) Под этим же заглавием настоящий очерк впервые был напечатан в X-й книжке «Вест. Евр.» за 1910 год. Здесь он значительно дополнен.

шими способностями и удивительной любознательностью.

Происходя из мелкой разорившейся польской шляхты, Щепанский еще на гимназической скамье вынужден был заниматься репетиторством, чтобы своими грошевыми заработками поддерживать свою мать-вдову и малолетнюю сестренку. Однако, — как я уже упомянул, — когда революционное настроение захватило нашу передовую молодежь, Иосиф также все оставил — гимназию и любимых людей, лишив их своей поддержки, и, как и другие, решил целиком посвятить себя народу.

Очень замкнутый в себе, сосредоточенный и молчаливый, Щепанский оживлялся только, когда речь заходила о каком-нибудь теоретическом вопросе, и лица, не знавшие его раньше, в таких случаях убеждались, что этот невзрачный на вид юноша обладает довольно большой для его лет начитанностью. Но рядом с умственными способностями и развитием, Щепанский не обладал ни особенной самостоятельностью мысли, ни сколько-нибудь значительной силой воли, характером: он легко поддавался настроению и шел по течению.

Выбрали мы друг друга для совместной отправки в народ потому, понятно, что были наиболее близки. Чтобы не подвергнуться риску встретить кого-нибудь из знакомых, которых у каждого из нас было немало, мы с ним решили не совершать процесса переряжения в крестьян

в Киеве, а где-нибудь в пути. Вскоре оказалось, что это мы хорошо с ним надумали.

Родным я сказал, что отправляюсь на урок в деревню. Только одна моя сестра Софья, о которой я упомянул в первом очерке, была посвящена во все мои планы и намерения. Но на первых же шагах вышла небольшая неловкость.

Я сказал родным, что еду на север, куда мне нужно было отправиться по железной дороге. Между тем, мы со Щепанским решили спуститься до Кременчуга, следовательно, на юг, по Днепру. Лишь только я вступил на палубу парохода, как увидел одну свою родственницу, которой еще накануне, встретив у родных, сказал о своей поездке совсем в противоположном направлении. Пришлось придумывать об'яснения этой внезапной перемены, чему она, как потом оказалось, не поверила и написала родным. Они, таким образом, догадались, что я не на урок на выезд, а в народ отправился и были, конечно, потом все время в большой за меня тревоге.

II.

Мне очень памятно это первое мое тогда плавание на пароходе. Берега широкого в это время года Днепра утопали в зелени. Местами пароход шел вблизи высокого правого берега, вдоль которого живописно раскинуты города,

деревни, села и откуда по вечерам доносились трели заливавшегося соловья.

Все тогда было для меня ново, интересно и вызывало наилучшие ощущения, под влиянием чего, скоро забыты были мною разные испытанные перед от'ездом огорчения и неприятности.

В Кременчуге у меня был знакомый молодой человек из «сочувствующих», живший у родных, людей довольно зажиточных и полуинтеллигентных. Они пригласили нас остаться у них погостить, на что мы охотно согласились. Из моих расспросов выяснилось, что в этом крупном промышленном городе, в котором имелось несколько среднеучебных заведений, в описываемое мною время, т.-е. весной 1875 г., еще совершенно не было социалистов или если был кто, то он не подавал никаких признаков своего там существования.

Проведши приятно, — перед тем, как погрузиться в жизнь, полную лишений, — несколько дней в удобной, культурной обстановке гостеприимной семьи, мы оттуда отправились в Харьков.

Знакомство с каждым новым населенным местом имело для меня в то время большое значение и вызывало во мне разнообразнейшие впечателения. До этой поездки я побывал всего лишь в одной деревне и в двух городах — в Бердичеве и Житомире. Естественно, поэтому, что первый после Киева большой университэтский город Харьков вызвал особенно живой интерес.

Туда мы имели от Фесенко рекомендательное письмо к бывшему студенту Ивану Ионовичу Глушкову, входившему в довольно известный в те времена кружок «сен-жебунистов», как мы его прозвали, в виду трех братьев Жебуневых, вместе с женами составлявших чуть ли не большинство его. В него же, между прочим, входил и ренегат Трудницкий, о котором я уже выше сообщил, что он причинил своим доносом неимоверную массу зла огромному числу людей. Глушков также был задет его оговором, но за отсутствием улик оставлен был под надзором с подпиской о невыезде из Харькова.

Жил Иван Ионович со старушкой матерью, Анною Ивановной, в небольшой, но уютной квартирке, где они и нас приютили, на что мы согласились, несмотря на его поднадзорность и наше шествие в народ: до того в те патриархальные времена все мы были беспечны, неосторожны.

Мать и сын оказались не только на редкость гостеприимными, но в своем роде оригинальнейшими и симпатичнейшими людьми.

Начну со старушки Анны Ивановны. Ко всем решительно знакомым ее сына она относилась, как к родным, любимым детям. Столько доброты, внимания, заботливости о нашем брате-революционере со стороны человека, лично неучаствовавшего в движении, я ни в ту пору, ни

впоследствии не встречал у других. Она прекрасно знала, какими целями мы задавались и какая тяжелая участь постигала большинство из нас. Кроме сына, у нее была еще дочь Зинаида, вышедшая замуж за известного тогда Николая Жебунева и, конечно, также подвергшаяся, благодаря злостному оговору Трудницкого, энергичным розыскам полиции. Несмотря на эти уже перенесенные Анной Ивановной тревоги, волнения и опасения за родных детей, у нее ни в малейшей степени не было, как это постоянно у других происходило, страха подвергнуться преследованиям за радушный приют, предоставляемый ею каждому решительно революционеру.

По чрезвычайно симпатичному великорусского типа лицу Анны Ивановны окаймленному густыми прядями белых волос, розлита была такая бесконечная доброта, что с первой же встречи, она внушала к себе доверие и симпатию. В то время было еще несколько матерей, пользовавшихся таким расположением. Но из всех мне лично известных Анна Ивановна Глушкова должна занять в этом отношении первое место. Несмотря на протекшие со времени моего знакомства с нею 48 лет, память об этой общей нашей матери жива во мне, словно мы недавно с нею расстались.

По своим душевным свойствам Иван Ионович вполне походил на мать, — та же бесграничная была у него доброта, заботливость о ближнем

и полная беспечность относительно грозившей ему ответственности. В нем также было столько простоты, радушия и искренности, что и его нельзя было не полюбить. Трогательно было видеть нежные отношения, существововшие между матерью и сыном. Но чертами лица, манерами и отношением к своей внешности он нисколько не походил на мать.

Среднего роста, сутуловатый, с рыжеватыми волосами и жидкой бородкой, Иван Ионыч, не обращавший никакого внимания на свой костюм, походил на захудалого мастерового, между тем как Анна Ивановна, благодаря правильным, даже красивым чертам своего лица и опрятному костюму, имела вполне представительный вид.

Узнав о цели нашего приезда, Иван Ионыч целиком отдался делу наилучшего снаряжения нас в дорогу. Медленной, флегматичной походкой он ходил с нами по базарам и толкучкам, тщательно выбирая каждую вещь из платья, белья, а также провизию, торгуясь с продавцами. Он же подстриг потом наши волосы соответственно той «великорусской внешности», которую мы со Щепанским решили себе придать: поверх ситцевых косовороток на нас были поддевки великорусского покроя. Осмотрев нас со всех сторон, Ионыч признал нас «вполне удовлетворительно» подходящими под крестьян. На прощанье он просил нас не миновать его на обратном пути.

Взвалив на плечи котомки с заключавшимся

в них всем нашим имуществом, мы вечером одни направились на вокзал.

Товаро-пассажирский поезд, на который мы попали, сплошь наполнен был крестьянами центральных губерний, отправлявшимися на юг на летние работы. Теснота и духота в вагоне причиняли особенно много огорчений моему слабосильному товарищу.

На расспросы спутников, кто мы, откуда и куда отправляемся, мы, конечно, отвечали согласно нашим фальшивым паспортам, заявляя, что также едем на юг, на заработки. То была наша первая, в сущности, непосредственная встреча «с народом», который мы собирались распропагандировать. Раньше мы знали его лишь по книгам да по случайным встречам на улицах и в трактирах. В вагоне мы впервые столкнулись с ним, как равные. Мне, помню, доставляло немалое наслаждение сознание, что вот я, как заправский крестьянин, еду с этими представителями трудящегося народа, которые принимают меня за своего брата и рассказывают про свои нужды и заботы. Как рьяный пропагандист, не могущий упустить подходящего случая, я также старался делиться со своими спутниками разными сведениями.

Трое суток длилось наше путешествие. Под вечер прибыли мы в город Мелитополь, — конечный пункт, так как вблизи его, согласно нашим источникам, должны были находиться молоканские селения. Переночевав на постоялом

дворе, мы, с котомками на плечах, отправились утром на розыски деревни «Козий Яр». До нее оказалось всего версты две-три; но к нашему крайнему удивлению и вместе огорчению, она сплошь населена была не молоканами, а православными - малороссами. Когда мы заявили, что, по полученным нами сведениям, здесь должны быть молокане, на нас смотрели с удивлением и отвечали: «Диды не запомнят, щоб колысь булы тут молокани». После долгих расспросов, мы, наконец, узнали, что приверженцы разыскиваемой нами секты имеются в соседнем — Симферопольском уезде. Обманутые печатными источниками, мы боялись положиться на устные указания и решили пока остаться в названной деревне, тем более, что в ней расположено железнодорожное депо, где можно было найти заработок, а в нем, за ограниченным количеством оставшихся у нас после всяких расходов в пути денег, мы вскоре должны были нуждаться.

Но для нас двоих, выросших и воспитавшихся в городе слабосильных юношей, до тех пор ничего, кроме книг и письменных принадлежностей, не державших в руках, нелегкой оказалась задача найти заработок. С большой тревогой и сильно бившимися сердцами подошли мы с Иосифом к железнодорожному депо. «А вдруг начальство усомнится в подлинности наших паспортов или вообще почему-либо догадается, что мы не крестьяне, а переодетые интел-

лигенты?» — мелькало в голове. Меня, помню, не пугало тогда опасение, что рабочий люд заподозрит нас: на первых порах мне казалось, что именно лица привилегированных сословий, к которым мы принадлежали, должны были легко разгадать, кто мы.

Я был парламентером. Обнажая голову, как это делают крестьяне перед всяким чином, я спрашивал: «нет ли какой работы?» Нас направили к начальнику депо. Это был немец, плохо говоривший по русски и державший себя важным барином. На его вопрос, знаем ли мы какое-нибудь ремесло и служили ли уже на железной дороге, я отвечал, что мы прямо из деревни.

— Ступайте в чернорабочие: пятьдесят копеек за день, — заявил он тогда, и, приняв наши паспорта, приказал какому-то служащему отвести нас в депо, где производился ремонт локомотивов и вагонов.

Нас поставили чистить локомотивы, а затем передвигать их по кругу в обратную сторону. Последняя работа была очень тяжела; мы, как говорится, обливались семью потами, пока кончали круг, и должны были часто останавливаться, чтобы перевести дух. А тут еще надсмотрщик, заметив, что мы время от времени отдыхали, попрекал нас за «лодырничание»: ему, конечно, не могло притти в голову, что эти два высокие парня совершенно слабосильны и не

привыкли к какому бы то ни было физическому труду.

Со второго же дня этой работы Иосиф стал жаловаться на ее непосильность для него. Я убеждал его крепиться, вооружиться терпением, предполагая, что он постепенно втянется в работу. Но, возвращаясь вечером домой, он буквально с ног валился от усталости. Не умывшись и не поужинав, он сваливался на нары и молча лежал на спине, с устремленными в одну точку глазами, пока не засыпал так. Он совсем лишился аппетита и выглядел больным. Отправляясь утром на работу, он еле переставлял ноги, словно человек, только что вставший с постели после тяжкой болезни. Мучительно было смотреть на него. Хотя Юзек, по обыкновению, сосредоточенно молчал, но для меня, хорошо его знавшего, было несомненно, что в нем происходил серьезный внутренний процесс: он решал вопрос, казавшийся нам тогда главнейшим в жизни сознательного человека: годится ли он для деятельности в народе? А, если неспособен к ней, то зачем и жить на свете?

Дня три или четыре спустя, Иосиф заявил мне, наконец, решительно, что он не в силах больше выдержать и возвращается в Киев. Я не отговаривал его более: заявление его не было для меня неожиданным. Все эти дни я с тревогой следил за ним, молча наблюдая за переживаемой им внутренней борьбой. С одной сто-

роны я даже был доволен, что он принял такое, а не худшее решение.

Так закончилось его хождение в народ. После этой неудачной пробы, Иосиф уже никогда не пытался повторить ее. Чтобы не возвращаться более к этому товарищу, скажу здесь, что впоследствии, в 1879 году, он осужден был на каторгу и долго затем жил в Сибири, в Якутской обл. Более сорока лет прошло, как я потерял его из виду.

III.

Не берусь передать, как тяжело мне стало после от'езда Иосифа: к неимоверному физическому утомлению присоединилось полнейшее одиночество. В совершенно чужой мне обстановке, без сколько-нибудь близкого человека, с которым я мог бы перекинуться словом, в фальшивом положении, заставлявшем ежеминутно быть на-стороже, чтобы как-нибудь не выдать себя, а, следовательно, не угодить чуть не прямо со школьной скамьи на каторгу, — от всего этого можно было придти в отчаяние. Но последовать совету Иосифа, убеждавшего пред от'ездом меня также оставить не соответствовавшее моим физическим силам предприятие, я считал совершенно невозможным. «А наше решение посвятить себя народу, вынести ради него все лишения и страдания?» — спрашивал я. «Кто же укажет ему выход из его тяжелого

положения, если все мы на первых же порах признаем себя неспособными? Нет, ты поезжай, а я останусь, что бы со мной ни случилось».

Признаюсь, в душе меня тревожило опасение, что немного позже я также не вынесу этой жизни и позорно сбегу. Все же я решил тянуть, пока хватит сил. «А если надорвусь — туда тебе и дорога!» — говорил я себе с решимостью отчаяния.

Но молодой организм ко многому может приспособиться. На рассвете, когда нужно было вставать, чтобы итти на работу, мне казалось, что не смогу подняться: все члены ломило до того, что трудно было шевелиться. Но постепенно я стал убеждаться, что, несмотря на эти ощущения, работа с каждым днем шла успешнее и в самой усталости залючалась своего рода привлекательность.

Еще будучи с Иосифом, я снял за три рубля в месяц угол в крестьянской избе, в которой помещались и сами хозяева-малороссы. За эти же деньги бабушка, мать хохла, должна стряпать нам пищу из продуктов, которые мы у нее же покупали. Все это обходилось очень дешево и получаемого нами жалования вполне хватало на прокормление.

Наработавшись в течение двенадцати часов, возвращаешься, бывало, домой совсем разбитый. Но когда, умывшись и переменив белье, сядешь за стол, незатейливые кушанья хохлушки казались необыкновенно вкусными. Недели полто-

ры-две спустя после от'езда Иосифа, я уже был твердо уверен, что не сбегу ни из-за физической усталости, ни вследствие ощущения полного одиночества. Понемногу я начал заниматься пропагандой среди своих сверстников, молодых железнодорожных рабочих.

Наметив парня, казавшегося мне особенно смышленым и симпатичным, я приглашал его к себе. Хохлушка-хозяйка ставила на стол огромную миску со щами, с гречневой кашей, с простоквашей или с варениками. Уплетая за обе щеки, мой гость, обыкновенно с усталым видом, слушал мои речи о всяких несправедливостях, господствующих повсюду. Он соглашался, что труд наш тяжел и скудно оплачивается, но тут же находил утешение для нас в возможности получить со временем повышение. При этом, то тот, то другой из пропагандируемых мною юношей с очевидной завистью указывал на какого-нибудь нашего сослуживца, получившего повышение в ранге, произведенного, напр., из смазчиков в помощники кочегара.

Мне представилась также возможность не совсем отстать от внешнего мира, т.-е. получать известия о том, что делается на белом свете.

Когда мы со Щепанским, еще будучи в Киеве, сообщили товарищам о нашем намерении отправиться в Мелитопольский уезд, то один из них, вспомнив, что там у него имеется знакомый, по фамилии Энгель, снабдил нас рекомендательной к нему запиской, но без адреса, кото-

рый не был ему известен. Поступив на службу в Козьем-Яру, мы в ближайший воскресный день отправились в город, где стали спрашивать прохожих, не знают-ли они «Энгеля», — никакие другие его свойства нам не были известны. Но никто из встречавшихся нам не знал его. Это повторялось втечение нескольких наших посещений Мелитополя. Решив, поэтому, что его невозможно найти, мы из предосторожности уничтожили полученную к нему записку. Но, однажды, вскоре после от'езда Щепанского, отправившись зачем-то в город, я на-авось, без малейшей уже надежды найти Энгеля, спросил о нем у попавшегося мне на базаре еврея. Видя пред собою крестьянского парня, он, конечно, предварительно поинтересовался узнать, зачем тот мне нужен, откуда я и т. д. Когда же я вполне удовлетворил его любознательность, он в точности указал мне улицу и дом, где жил Энгель. Но тогда для меня возникло новое затруднение: я не мог представить полученной к нему записки. Это обстоятельство, однако, не остановило меня.

Найдя по указанному евреем адресу Энгеля дома, я об'яснил ему причину уничтожения имевшейся у меня к нему рекомендации, чему он вполне поверил и отнесся ко мне самым радушным образом. Это был довольно интеллигентный молодой студент, приехавший на каникулы на урок к, очевидно, симпатичному купцу-еврею средней руки.

Мы скоро сошлись с Энгелем: в течение нескольких месяцев, проведенных мною затем в той местности, я неоднократно в воскресные и праздничные дни, бывая в Мелитополе, заходил к нему; он оказывал мне разные мелкие услуги, на его имя шла моя переписка со Щепанским, сестрой Софией и др., иногда он снабжал меня газетой или книжкой журнала и пр.

Решительно ни в ком из многочисленных служащих в депо, а также из крестьян деревни, с которыми в воскресные и праздничные дни у меня завязывалась беседа, я не возбуждал ни малейшего сомнения относительно своего происхождения. Я настолько свыкся со своим фальшивым положением, что совершенно перестал тяготиться им. Отношения со всеми окружающими установились у меня хорошие, работа не так уже утомляла, и я стал даже подумывать о том, чтобы раньше отправки к молоканам научиться какому-нибудь мастерству, что дало бы мне возможность легче устроиться у них.

С этой целью, по окончании месяца службы, я смело направился к самому начальнику депо. Стоя перед ним, конечно, с обнаженной головой, на вытяжку, я стал просить его, чтобы он определил меня в слесарную мастерскую. Но такая, казалось бы, невинная просьба привела грубого немца в неистовство: он стал кричать на меня, словно я Бог весть с чем позволил себе обратиться к нему.

— Как ты смеешь указывать мне, где тебе работать! — воскликнул он. Когда же я вежливо заметил, что чернорабочим мне невыгодно оставаться, немец совсем рассвирепел и с площадной бранью швырнул мне паспорт.

Возвращаясь домой, я вспомнил, с каким умилением рассказывал нам, членам кружка, Сокович о том, что его без всякого основания побил на железнодорожной станции жандарм, приняв его за настоящего, а не за переодетого, крестьянина.

Хотя и не в такой мере, но я также был приятно польщен, что немец выругал меня и выгнал вон. Невозможно было мне более оставаться в Козьем Яру, и, хотя свою подготовку я считал далеко еще незаконченной, мне все же пришлось отправиться к молоканам.

IV.

С котомкой на плечах и с суковатой палкой в руке я на рассвете июньского южного утра направился по большой дороге в ближайшую молоканскую деревню Астраханку, отстоящую в двадцати-пяти или в тридцати верстах от Козьего Яра.

Впервые приходилось мне предпринимать столь длинный путь пешком. К полудню жара стала невыносимой; между тем по дороге не попадалось ни деревца, ни кустика, в тени которых можно было бы отдохнуть. Кругом была

тогда лишь необ'ятная степь, среди которой кое-где расположены были деревни.

Когда солнце стало особенно жестоко припекать и я почувствовал невозможность двигаться дальше, то решил сделать привал в одной попавшейся на пути деревне. С этой целью я обратился к стоявшей у одной избы крестьянке. Поинтересовавшись предварительно узнать, откуда и куда я направляюсь, женщина указала мне какую-то клетушку. Поев там из приготовленных мне на дорогу хозяйкой-хохлушей припасов и, растянувшись на свеже-скошенном сене, я чувствовал себя в блаженном состоянии. Спешить мне не было никакой надобности, так как до Астраханки оставалось уже немного верст, а притти туда мне выгоднее было перед вечером.

Долго отдыхал я в клетушке; затем, напившись воды и поблагодарив добрую хозяйку за приют, я вновь отправился в путь. Несмотря на продолжительный отдых и на то, что я медленно шел вперед, солнце все еще стояло высоко на небе, когда я приблизился к цели моего путешествия. Чтобы не заходить засветло в Астраханку, я решил скрыться на время. Рискуя подвергнуться большим неприятностям, я направился в расстилавшееся по обе стороны дороги поле с созревшими хлебами. Пришлось потоптать высокие колосья. Оставив за собою, таким образом, длинный след, я забрался в глубь поля, где, прилегши, с тревогой ждал солнечного захода.

*

Своим внешним видом Астраханка сразу разочаровала меня: вместо убогих лачуг, каковы почти сплошь в России крестьянские избы, я увидел длинный ряд каменных домов, нередко в два этажа, крытых черепицею, с прочными заборами, с изукрашенными воротами и ставнями. Не забитое, возбуждающее жалость своей нуждой население, очевидно, жило в этой благоустроенной деревне, которая могла поспорить со многими нашими уездными, а то и с некоторыми губернскими городами.

Отправляясь к молоканам, я не имел решительно никакого представления о том, как я среди них устроюсь и как примусь за дело. Одно лишь казалось мне очень важным — попасть на ночлег к какому-нибудь подходящему молоканину: «а там, — думал я, — все само собою устроится». Поэтому я и норовил придти в Астраханку, когда стемнеет.

Однако, это скромное мое желание на деле оказалось совсем не столь легко осуществимым. Прошедши более половины обширного селения, растянувшегося на несколько верст в длину, я, в ответ на мою просьбу о ночлеге, неизменно получал лаконический приказ: «проходи дальше».

«Однако, эти хваленые последователи евангелического учения, повидимому, далеко не отличаются радушием к прохожим», — думал я, высматривая дома попроще. Но и там меня встречали столь же негостеприимно. Между тем

ночь все более надвигалась, и я начинал уже чувствовать раздражение против тех, кого пришел просвещать.

— Куда же мне деваться, не на дороге же ночевать? — вырвалось у меня в ответ на заявление одной молоканки: «не пущаем прохожих».

— «А ты поди на постоялый — вон там», — и она указала направление.

Поблагодарив добрую женщину за прекрасный совет, я, однако, не желал им воспользоваться, так как на постоялом дворе я легко мог натолкнуться на кого-либо из сельских властей, что вовсе не входило в мои планы. Я склонялся уже к мысли отправиться за село и переночевать где-нибудь в поле, когда вновь заметил дом попроще.

Ворота его были открыты настежь, на дворе стояли два воза с сеном — хозяева, очевидно, недавно вернулись с полевых работ. В последний раз решил я попытать счастье. Вошедши в дом, я увидел небольшую семью, сидевшую за ужином. В ответ на мою просьбу о ночлеге, вместо лаконического отказа, молоканин пустился в обычные расспросы: кто я, откуда и куда? Повидимому удовлетворенный моими ответами, хозяин, встав из-за стола, сам повел меня в конюшню, где указал мне широкую скамью, стоявшую у входа, и предложил расположиться на ней. Когда, сбросив с плеч котомку, я собирался воспользоваться его разрешением, он позвал

меня обратно в дом поужинать. Отправляясь к молоканам, я, как и другие мои товарищи, направившиеся к сектантам, решил разыгрывать роль истинно-православного, строго соблюдающего все обряды, чтобы, таким образом, давать сектантам поводы к спорам относительно религиозных вопросов. Поэтому, поблагодарив молоканина за его приглашение, я как бы вскользь заметил, что они, конечно, сегодня едят постное, так как то было в пятницу.

Хозяин с улыбкой сообщил мне, что они, молокане, постов не соблюдают.

Я, конечно, сделал крайне изумленный вид, — прикинулся решительно ничего не знающим об этих людях. Молоканин обрадовался случаю просветить совершенно невежественного парня и пустился в изложение сущности своей религии и ее отличия от православной. Теперь из довольно длинного его об'яснения помню, что лишь они, молокане, являются единственными и истинными христианами, так как только они живут согласно Евангелия и Библии. Все же остальные, тоже именующие себя христианами, не более, как самозванцы, еретики. Сославшись на известное изречение, молоканин стал мне доказывать, что можно всегда есть любую пищу, так как грешно не входящее в уста, а лишь исходящее из них.

Для меня этот молоканин являлся настоящим кладом: именно такой мне и нужен был. От него, предполагал я, мне удастся узнать, как

мне устроиться в их среде. На этот счет у меня, как я уже упоминал, не было никакого плана: я полагался целиком на благоприятное стечение обстоятельств. Я, конечно, не соглашался с доводами молоканина относительно преимуществ его религии перед православием и выступил на защиту последней. У нас завязался небезинтересный диспут. Таким образом, стоя в конюшне рядом с лошадьми, громко жевавшими сено и время от времени поворачивавшими в нашу сторону головы, как бы затем, чтобы прислушаться к нашей беседе, я в первый же вечер своего прихода к молоканам приступил к сближению с членом той именно секты, которую давно избрал для проповеди новых идей.

Молоканин до того увлекся спором со мной, что совершенно забыл про недоконченный ужин и усталость, наступившую после долгого рабочего дня. Когда кто-то из семьи прибежал звать его домой, он попрощался со мною, заметив с добродушной улыбкой: «вишь, паря, как с тобою замешкался, — видно и ты любишь божественное». Мне чрезвычайно приятно было слышать это, и я заснул после его ухода крепким сном.

V.

Утром, чуть свет, ко мне уже заявился мой хозяин, которого, как оказалось, звали Иваном Фирсовым Мамонтовым.

— Из-за тебя, парень, я вчера сена не сбросил, так вот помоги мне теперь, — сказал он, поздоровавшись.

Отродясь я не только не занимался этим делом, но и вил-то не держал в руках. Однако, нельзя было отказываться. Взобравшись коекак на воз и глядя на то, как манипулирует молоканин, я старался подражать ему. Но у меня ничего не выходило из этого. Несмотря на весь мой пыл, дело не спорилось: то я черезчур много захватывал сена, так что не в состоянии был подать охапку на сеновал, то, наоборот, до смешного мало забирал.

Увидев мою возню, молоканин добродушно рассмеялся.

— Какой же ты крестьянин, коли сена свалить не можешь? — спросил он, ухмыляясь.

Я об'яснил ему, что с молодых лет служил приказчиком в лавке.

— Пошто же не остался там? — удивился он.

— Да вот все из-за божественного! — сказал я, и в ответ на его недоумение, отставив вилы, рассказал ему, как я, будто бы рано осиротев, был определен в ближайшем городе в лавку мальчиком. Там я научился читать и пристрастился к божественному. Затем я стал читать и мирские книги. Таким-то путем я понял, что торговля — занятие нечестное, потому что «не обманешь — не продашь». Мне же захотелось жить по правде; потому пошел я бродить да

искать правильной жизни. Побывал я уже в разных местах, но везде видел все то же: сильный слабого душит, грабит, всякий норовит обмануть, обидеть бедного.

Оставив работу, молоканин, повидимому, слушал с большим вниманием. В душе я готов был уже торжествовать победу: «вот я веду настоящую проповедь и не парням, а взрослому, пожилому молоканину, — думал я. — Он, очевидно, проникается моими взглядами. Как быстро осуществилась моя мечта: уже на второй день я имею успех!»

Каково же было разочарование, когда по окончании рассказа, я услышал от молоканина:

— Ну, и чудак же ты! Был бы со временем сам купцом, а теперь что?

Уж не с прежним пылом я ответил, что предпочитаю тяжелым, но честным трудом зарабатывать свой хлеб, чем обманом. Когда мы затем вновь принялись за работу, молоканин продолжал ухмыляться, приговаривая:

— Нет, парень, видно вилы не аршин, сено не коленкор или ситец.

Его шутки привлекли из дома жену и детей. Узнав, в чем дело и увидев мою неуклюжую возню, дети покатывались со смеху. Это еще более конфузило меня, и я делал еще более неловкие манипуляции с вилами.

«Оскандалился, осрамился!» — произносил я мысленно с отчаянием, стоя, по окончании работы, весь красный, сконфуженный и рукавом рубахи обтирая обильно катившийся с лица пот.

Молоканин в это время о чем-то в стороне шопотом говорил с женой; затем, обратившись ко мне, он вдруг сказал:

— Вот что, парень: ты захотел простой работы — так оставайся у меня в работниках!

— Вы смеетесь? — спросил я с огорчением, не веря своим ушам и не допуская мысли, чтобы наглядное доказательство полного моего незнакомства с крестьянскими работами могло вызвать у молоканина серьезное желание оставить меня у себя. — Какой я работник?

— Ничего, парень, научишься! А пока-что, все-же за бабу сойдешь! Положу я тебе тридцать копеек в день на моих харчах, вот и будешь на «бабьем жалованьи», — закончил Фирсов со смехом, видимо довольный своей остротой.

Я, конечно, охотно принял его предложение: лучшего оборота я не мог ожидать. Я нашел именно то, о чем мечтал. Молоканин и жена его, — толстая, недурной наружности, женщина средних лет, — были, повидимому, люди добрые и простые.

За завтраком, состоявшим из чая с белым хлебом и разных молочных продуктов, хозяин поминутно говорил мне:

— Ешь, еще: по еде виден работник: кто много ест, тот и в работе горазд!

После завтрака, показавшегося мне чрезвычайно вкусным, хозяин с сыном, парнем почти

моих лет, и двумя дочерьми, двенадцати и девяти лет, стал собираться на покос и позвал меня с собою.

Когда мы приехали в степь, верст за пятнадцать от деревни, я, взяв одну из хозяйских кос, начал ею до того размахивать, что вновь вызвал общий смех и замечания: «ай-да косарь!»

— Нет, Митрий, — обратился ко мне хозяин, которому я сказал имя, выставленное в моем паспорте: — этак ты больше напортишь, чем накосишь, не то себе или другому ногу отрежешь! Ты сперва присмотрись, как мы с Ваней косим, а пока подгребай за нами с девочками.

Неловко и неприятно было мне идти позади хозяина и его сына, рядом с малолетними детьми, но нечего было делать, да и эту, сравнительно легкую работу, я исполнял медленнее и хуже, чем даже меньшая дочь хозяина, Луша.

— Смотри, тятька, смотри! Какие у работника полосы остались! — воскликнула она с укоризненным смехом.

— А ты, чем смеяться, показала бы парню, как надо подгребать, — говорил молоканин, добродушно улыбаясь.

— Такого большого учить! Какой же он работник! Ни косить, ни грести, ничего делать не может: он и за бабу не сойдет, харчей своих не заробит! Что в нем толку? — сыпала откровенно бойкая, разбитная девочка.

— Ну, ну! Молчи, егоза! — полу-серьезно, полу-шутя закричал на нее отец.

А я не знал, куда мне от стыда деваться, и давал себе слово уйти, куда глаза глядят, как только вернемся в деревню.

«Проклятая интеллигентская жизнь в городе! Ни к чему-то она не приучает, делает человека ни на что неспособным, кроме чтения книжек!» — думал я с невыразимой грустью. «Ну, где уж тут пользоваться влиянием, когда малолетняя девочка поднимает тебя на смех!»

— Митрий, а Митрий! Ты чего это отстал? — раздается с другого конца покоса.

Занятый невеселыми мыслями о своей интеллигентской неподготовленности к физическому труду, я действительно остался далеко позади. Вновь, поэтому, раздается смех, вновь слышу злые и крайне обидные замечания Луши.

— «Нет, нельзя мне здесь оставаться! Уйду, сегодня же уйду! Но куда? Неужели, по примеру Иосифа, назад, ничего не сделав, когда, наконец, удалось попасть к молоканам?»

Когда по возвращении вечером в деревню, я заявил хозяину о своем намерении, он решительным тоном воскликнул:

— Пустое, живи! Чего оробел? Всяко начало трудно, — современем всему научишься!

Ему не пришлось долго уговаривать меня, так как мне и самому тяжело было бы отказаться от своей цели распропагандировать молокан.

VI.

Потянулась тяжелая страдная пора. Работа начиналась задолго до восхода солнца, а кончалась с появлением звезд на небе. Уставал я чрезвычайно; тем не менее не упускал случая для пропаганды.

Сначала беседы наши касались преимущественно религиозных вопросов. При этом мои собеседники всегда сравнивали свое учение с православием и доказывали мне его превосходство над последним. К православию молокане, в общем, относились с снисходительной насмешкой, но в беседах со мною не проявляли ни малейшей нетерпимости. Религиозные вопросы, видимо, потеряли для них жгучий интерес. Такое их настроение являлось не особенно удачным для меня. Отправляясь к ним, я предполагал встретить в них горячих сторонников их учения, — людей убежденных, что только в нем одном все ищущие правды и справедливости могут найти удовлетворение. При таких воззрениях, — полагал я, — легче было бы возбудить в них интерес и к тем более важным вопросам, которые занимали меня и моих единомышленников. Поэтому я был очень разочарован, когда, вместо страстного отношения к религиозным вопросам, нашел большое равнодушие к ним, вместо горячей проповеди — почти полный индифферентизм к тому, примкну-ли я к молоканству или нет?

Эти сектанты несомненно обладали здравым житейским умом. Они были толковы, смышлены, все грамотны и неизмеримо более развиты, чем православные крестьяне. Но не мало у них и отрицательных черт. Несмотря на грамотность, они, кроме своих молитвенников и священного писания, никаких других книг не читали. Косности, нелюбви к каким-либо новшествам в них едва ли было меньше, чем у православных.

Однажды мой хозяин, увидев, как на соседнем участке богатого молоканина работник управлял косильной машиной, заметил с завистью:

— Эх, будь деньги, — купил бы такую машину!

Не желая упускать повод к пропаганде, я стал развивать ему наши взгляды относительно общего пользования орудиями производства. Я полагал, что сообщаю молоканину совершенно новые для него воззрения, но он, по обыкновению, внимательно выслушав меня до конца, спокойно заметил:

— Все это нам не на пользу, а во вред! — И в подтверждение своих слов он сослался на находившуюся невдалеке от Астраханки деревню, где жила секта «общих», у которых, по словам Фирсова, орудия были общие.

Мне самому, к сожалению, не удалось побывать в их деревне и лично познакомиться со сторонниками этой секты. Но, насколько я могу теперь припомнить рассказы молокан, относившихся к «общим» крайне отрицательно, все ра-

боты члены этой секты производили сообща. По словам молокан, среди «общих» происходили только ссоры да споры, о том, кто сколько наработал, кто ленится, прикидываясь больным. Поэтому у них вечные беспорядки, бедность и грязь.

— То же и у нас было-б, кабы стали жить, как ты говоришь, — закончил Фирсов свой рассказ.

Беседы на социалистические темы происходили у меня не только с хозяином, но и с некоторыми соседями, и все они оставались при твердом убеждении в негодности проповедуемых мною новшеств. Причина их консерватизма коренилась, конечно, в относительно благоприятном материальном их положении. Земельные наделы были тогда еще очень значительны: на семью, в среднем, приходилось чуть ли не по несколько десятков десятин; скота у них также было вдоволь. Существовало, правда, неравенство: встречались крупные богачи-стотысячники и люди, как Фирсов, имевшие только ограниченные средства. Но о вопиющей бедности редко приходилось слышать, да и то, если верить моим собеседникам, причина нужды коренилась не во внешних условиях, а в самих лицах, впавших в нее.

— Теперь вот и у нас пошел разврат, — говорили молокане. — Прежде у нас и в помине не было вино пить, а нынче кабак завелся: иной

из него не выходит, оттого хозяйство у него прахом идет.

Само собой разумеется, что проведенная по близости железная дорога и, вместе с нею, из года в год увеличивавшийся обмен, а также возраставшее население и многое другое в сильной степени влияли на заметно ускорившийся процесс расслоения молоканской секты. Многие члены ее далеко ушли от первоначальных верований их предков и в жизненном обиходе почти ничем уже не отличались от православных. Так, один из местных богачей раз'езжал на тысячных рысаках, имел великолепный дом, охотничьих собак и т. д.

Когда по этому поводу я указывал своим собеседникам на евангельскую притчу о богаче верблюде и игольном ушке, они мне отвечали:

— Бог захотел и дал ему! Смотри: вот дождь идет на той полосе, а этой совсем не задевает — Господь лучше нас с тобой знает, кому сколько дать надо!

Таким образом, все мои попытки об'яснить происхождение неравенства социальными причинами натыкались на крепко установившиеся предрассудки и на принятые на веру, без малейшей критики, понятия и правила.

Столь же равнодушными оставались мои собеседники, когда я пытался апеллировать к их чувству справедливости и сострадания. В этих случаях я также должен был убеждаться, что они вполне довольны своим положением, а по-

тому не способны к отзывчивости. Они гордились и хвастались своим благосостоянием.

— Видишь, как хорошо у нас, не то что у вас в России, — говорил мне нередко то тот, то другой из молокан. — Всего-то у нас вдоволь, — дома, скот какой! А сослали-то нас сюда за веру нашу, словно в Сибирь: ничего кругом не было — ни деревца, ни кустика, ни воды. Все своими горбами сделали наши деды да отцы. Как послушаешь стариков, и натерпелись же они! Сколько перемерло-то наших здесь, беда!

Неудивительно, поэтому, что достигнув относительного благосостояния, молокане впали в консерватизм и не чувствовали никакой наклонности к новшествам. Того ли я ждал, отправляясь к ним? Все, что я увидел, очутившись среди молокан, совершенно противоречило составившемуся у меня о них по устаревшим источникам, представлению. С каждым днем я все более разочаровывался. Но, как молодой пропагандист, веривший в силу своих убеждений, я приписывал равнодушие молокан не их свойствам и не условиям их жизни, а собственному своему неумению и незнанию, как взяться за дело.

VII.

В воскресные дни, вдоволь выспавшись и исполнив лежавшие на мне по хозяйству обязанности, я принимался за чтение одной из двух принесенных мною в котомке легальных книг: «Изучение социологии» Спенсера и «Статистика России» Ливрона. За этим занятием, случалось, меня заставал хозяин, и хотя сам он никогда не заглядывал ни в какую мирскую книгу, но все же он одобрительно относился к такому препровождению свободного времени. Благодаря отчасти этому же занятию знакомые молокане считали меня авторитетом по «ученым» вопросам; но я сам испортил столь выгодную для меня репутацию.

Случилось это в степи, во время уборки хлебов. Однажды, после ужина, когда мы лежали все рядом, собираясь заснуть, хозяин вдруг спросил меня:

— Правда ли, Митрий, сказывают, будто звезды больше земли?

Ответив утвердительно, я, обрадовавшись поводу, пустился в об'яснение, почему звезды кажутся нам малыми, затем назвал некоторых спутников солнца...

— А скажи, Митрий, как пройти до деревни Васильевки? — прервал Фирсов мое перечисление.

Вопрос его показался мне тем более странным, что, повидимому, он слушал мои об'яснения с обычным интересом.

— Почему же я знаю? — ответил я с неудовольствием: — вы ведь знаете, что я там не бывал.

— То-то вот и оно-то, — воскликнул он с торжествующей ноткой в голосе. — А на небе ты разве бывал? Не можешь сказать, как на земле тридцать верст пройти, а толкуешь про то, как далеко до звезд, до солнца, до луны! Хоть книги разные читаешь, а вижу, что и в тебе тоже глупости не мало! — заключил хозяин с большой укоризной, и, повернувшись на бок, немедленно заснул.

Эта «астрономическая» беседа доставила мне среди молокан огромную популярность, но крайне невыгодного свойства, в чем я мог убедиться из следующего случая.

Чтобы посылать свои письма и получать приходившие для меня на имя Энгеля, я раза два-три за время моего пребывания у молокан отправлялся на почту в Мелитополь; при этом случалось, что меня кто-нибудь подвозил. В одно воскресное утро, вскоре после описанной беседы, идя в город, я попросил проезжавших мимо двух незнакомых крестьян подвезти меня. Пустив меня на телегу, они стали расспрашивать, кто я и у кого служу?

— Так это ты Ивана Фирсова работник! — воскликнули они радостно. — Знаем, знаем! Много про тебя наслышаны: ты, сказывают, по небу шибче, чем по земле ходишь?

И проезжие покатывались со смеху.

Оказалось, что то были молокане, жившие в другом конце обширного селения Астраханки; тем не менее слух о моих «путешествиях по небу», как мой хозяин назвал мои астрономические об'яснения, уже успел дойти до них, и, очевидно, вызвал с их стороны также отрицательное отношение.

Беседа о небесных светилах не повлекла за собой, однако, изменения в отношениях ко мне хозяев и некоторых знакомых молокан. Фирсов после этого, кажется, случая, лишь еще сильнее укрепился в представлении, что я — странный человек.

— Более ста лет стоит Астраханка, — сказал он мне как-то, — а такого чудака, как ты, Митрий, в ней никогда не бывало.

Однажды, лежа с книгой за стогом сена, я невольно подслушал разговор, который невдалеке от меня вел мой хозяин с каким-то соседом. Хозяин расхваливал кого-то за трезвость, честность, аккуратность.

— И все-то у него — рубахи, штаны — новые; ну и денег, видно, немного есть. Каждый раз, как из города приходит, четверку чаю и фунт сахару хозяйке приносит, ребятам — леденцов. Хорошую службу на железной дороге имел — пятнадцать рублей в месяц получал. Да бросил и пошел мужицкую работу справлять. Такой чудной по всему, какого я отродясь не видал.

Составив себе столь лестное обо мне мнение, хозяин готов был распинаться за мою репутацию. Это он и доказал в одном случае, едва не окончившимся для меня очень печально.

Когда, однажды, я вернулся перед вечером с лошадьми с какой-то работы, хозяин за ужином сообщил мне, что в моем отсутствии к нему зашел сосед Калинин, у которого не задолго перед тем увели лошадь, и выразил уверенность, что это — дело моих рук. На вопрос Фирсова, каким образом я мог увести его лошадь, оставаясь все время в Астраханке, Калинин указал, что вот я хожу зачем-то в город: там, по его предположению, у меня имеются, должно быть, пособники, которым я и указываю, у кого из астраханских молокан плохие запоры. При этом Калинин предсказывал, что я больше не вернусь, а уведу также лошадей хозяина, на которых поехал по делу. «А то чего этому парню и жить в нашем селении?» — передавал Фирсов слова соседа.

— А вы что же ему сказали? — спросил я.

— «Не знаешь ты моего работника», — сказал я ему: — «не то что чужой лошади не уведет он, а положи перед ним сколько хочешь золота, и того не тронет. На него, как на родного сына, положусь».

Несмотря на столь лестное обо мне мнение, рассказ его чрезвычайно огорчил и встревожил меня: в результате моих стремлений спропагандировать молокан быть заподозренным в конокрадстве, — что могло быть обиднее этого, особенно для юного социалиста?

К моральному огорчению присоединилось еще и другое немаловажное обстоятельство: несмотря

на уверенность Фирсова в моей честности, разговор с соседом все же возбудил в нем некоторую тревогу.

— Вот что, Митрий! — прибавил он, спустя немного. — Калинин, поди, не мне одному, а по всей Астраханке трубит, что это ты его лошадь увел: как бы брехня его не дошла до волости! Скажи, есть у тебя паспорт?

В течение всего лета мой хозяин ни разу не поинтересовался узнать об этом. Паспорт мой был не только фальшивый, но к тому же и просроченный: товарищи, обещавшие прислать новый, не сделали этого. Не желая, однако, увеличивать тревогу бесхитростного и добродушного молоканина, я, отправившись в конюшню, достал лежавший в моей котомке паспорт, но не передал его хозяину, а сам прочел текст, так что выходило, будто он еще не просрочен.

— Нет, что ни толкуй, Митрий, — заметила вдруг присутствовавшая все время хозяйка, — а ты не из простых: не похож ты на мужика! Гляди, какие у тебя руки: беленькие да маленькие, меньше, чем у девочки.

И, позвав свою младшую дочь, она стала сравнивать наши руки.

— Ты из господ! — заявила она, наконец, решительным тоном.

Муж ее, повидимому, тоже склонен был к этому предположению, что мне было крайне неприятно.

— Сами посудите, зачем стал бы я выдавать себя за крестьянина? — старался я разубедить их.

— Кто тебя знает: чужая душа — потемки! — заявила хозяйка. — Вот, сказывают, и господ в солдаты стали брать, — может, ты и покинул родню, чтобы не служить.

Предположение это она высказала ничуть не враждебным тоном. Наоборот, в словах ее слышалось скорее сочувствие: как сектантка, она вовсе не считала предосудительным уклонение от воинской повинности. С другой стороны, быть может, ей лестно было думать, что вот в работниках у них состоит «барин», у которого что-то в прошлом имеется, и эта таинственность действовала, вероятно, на ее воображение.

Как бы то ни было, но в связи с подозрением, высказанным против меня соседом Калининым, предположения моих хозяев о моем происхождении вызвали во мне немалую тревогу: эти разнообразные относительно меня подозрения могут вскоре дойти до волостного правления, меня арестуют, затем дознаются, с какими целями я отправился к молоканам, а по тем временам за это приговаривали к каторжным работам.

Вполне естественно, поэтому, что первою мыслью моей, когда я остался один, было бежать из Астраханки. Но это значило бы подтвердить возникшие относительно меня неблаговидные подозрения, и, следовательно, оставить о себе совсем нелестную память. Сразу разрушить все то, что с такими усилиями создавалось в течение целого лета, казалось мне не только неблагоразумным, но и предосудительным.

«Нет! Я должен остаться здесь, что бы там ни случилось», — решил я после долгих размышлений и взвесив всевозможные соображения «за» и «против». Одно соображение особенно сильно повлияло на мое решение: мне не хотелось оставить без опровержения пущенную Калининым против меня клевету.

Своей внешностью и выражением лица этот молоканин уже и раньше не внушал мне ни малейшего расположения: рыжеволосый, с длинной, всклокоченной бородой, с лицом, покрытым веснушками и красными пятнами, Калинин производил неприятное впечатление. Если к тому же принять во внимание его громадный рост и большую физическую силу, то, полагаю, встрече с ним на большой дороге едва ли многие радовались бы.

Неудивительно, поэтому, что я испытывал довольно тревожное чувство, когда на следующий день я увидел Калинина беседующим у ворот своего дома с моим хозяином и каким-то другим молоканином. С сильно бьющимся сердцем я направился к этой группе: у меня было опасение, что мое об'яснение с Калининым может скверно для меня окончиться.

— Вы что это напраслину на меня взводите? — обратился я к нему, подошедши близко.

— А то кто же другой увел у меня коня? — спросил он нахально. — Некому другому, кроме

тебя: ты чудной какой-то, на мужика не похож. Не из жидов ли ты? — закончил он совершенно неожиданно.

До этой беседы мне очень редко случалось встречаться с ним, и я едва ли обменялся с ним раньше парой слов. Теперь, увидев меня вблизи, к тому же сильно взволнованным вследствие пущенной им клеветы, Калинин, как человек бывалый, вполне естественно узнал во мне еврея. Но, раз по паспорту я значился православным крестьянином, мне, конечно, нельзя было подтвердить его предположение. С другой стороны, я не хотел также и отрицать этого, так как своего происхождения не стыдился. Положение мое было довольно затруднительное. Я вероятно сильно изменился в лице, вследствие внезапности предложенного мне Калининым вопроса. В голове моей быстро промелькнуло, что высказанное Калининым подозрение может легко быть доказано, а тогда станет очевидным, что паспорт у меня фальшивый, и все остальное откроется. Нельзя было, поэтому, долго оставлять без ответа вопрос Калинина.

— Не о том речь, кто я такой, а о том, как можете вы зря обвинять человека? Вы, молоканин, считаете себя настоящим христианином, а вот взводите на меня напраслину!

Долго затем раз'яснял я ему и его собеседникам возмутительность взводимого им на меня обвинения. Мой хозяин поддержал меня; другой молоканин, хотя молчал, но, видимо, тоже

был на моей стороне. Калинин почувствовал себя не совсем ловко; все же, не желая прямо признать себя неправым, заявил: «Может и не ты увел коня, — Господь знает. Ну, не сердись, парень!» — Мы протянули друг другу руки.

VIII.

Но беда, как известно, не идет одна: не успел я успокоиться относительно этого инцидента, как меня сильно встревожило другое обстоятельство.

Когда в сумерках одного из следующих дней я, сидя верхом на коне и ведя за поводья остальных трех хозяйских лошадей, направлялся в степь в ночное, меня окликнул Фирсов, сидевший на скамье у ворот с несколькими соседями.

— Слезай-ка, Митрий: вот тебе земляк, — заявил он с веселой улыбкой, указав на одного из своих собеседников.

Последовав его предложению, я, конечно, не испытывал ни малейшей радости по поводу этой встречи. Мой «земляк» стал расспрашивать меня, какой я губернии, уезда, волости? Оказалось, что он был из деревни соседней с той, из которой я по паспорту значился, и знал наперечет всех местных крестьян. Услыхав, что моя фамилия Голенюк, он выразил большое удивление: о таковой он, конечно, не слыхал, по той причине, что она существовала лишь в моем паспорте. Когда же я сказал, что родители мои

давно умерли, он стал расспрашивать о моих родственниках, свояках и знакомых. Боясь попасться, назвав несуществовавшие в той деревне фамилии, я заявил, что на родине я не был с малолетства, а потому никого не помню и не знаю. Выходило не совсем гладко и правдоподобно.

— Как же так? — недоумевал мой «земляк». — Чудно!

Под предлогом, что темнеет и нужно торопиться в степь, я простился с ним и с другими. Этот «черниговец», казалось мне, ясно видел, что я говорю неправду и, как человек «российский», наверно заподозрил меня. Из разговора с ним я узнал, что он недавно приехал в Астраханку, где собирается открыть торговлю. Таким образом, мне и впредь придется с ним встречаться. Его подозрения могут, поэтому, подтвердиться, особенно, если он вздумает в нашей общей с ним волости справиться, действительно ли был выдан оттуда паспорт на названную мною ему фамилию. Состояние мое было самое неприятное: на душе, как говорится, кошки скребли.

От'ехав верст пятнадцать, я пустил со спутанными ногами лошадей по скошенному участку Фирсова, а сам, подостлав свою поддевку, растянулся на земле. Кругом на большом пространстве не было ни одной живой души; только на горизонте представлялись в виде черных точек далеко забравшиеся лошади. Однообразная, неприветливая картина, расстилавшаяся перед глазами, вполне соответствовала моему невеселому душевному состоянию: я не знал, что мне предпринять, вновь останавливался на мысли о побеге из Астраханки, чтобы, таким образом, предупредить арест. Если раньше был еще смысл оставаться, в виду клеветы, пущенной Калининым, то теперь, казалось мне, не было ни малейшего основания рисковать своей свободой.

Прошло много лет с тех пор, но и до сих пор живо помню ощущения, испытанные мною в ту ночь. К счастью, она была недолга. Лишь только стало светать, я пустился в поиски лошадей. Это оказалось далеко не легким делом: черные точки видны были на горизонте в разных направлениях, и какие из них являлись лошадьми хозяина, я решительно не мог определить. Ваня, сын Фирсова, с которым я раньше отправлялся в ночное, приложившись ухом к земле, безошибочно определял, куда забрели наши лошади. Попробовав применить этот способ, я решительно ничего не мог разобрать. Мне приходилось итти наугад, и, подошедши близко к намеченным точкам, я каждый раз убеждался, что то были чужие лошади. Только после бесчисленного количества безрезультатных экскурсий по огромному пространству, когда солнце уже стояло довольно высоко над горизонтом, мне, почти выбившемуся из сил, удалось, наконец, собрать своих лошадей, да

и то лишь при помощи явившихся в степь незнакомых мне молокан.

Возвращаясь поздно днем в деревню, я предполагал, что хозяин сперва попрекнет меня, зачем я замешкался, а потом сообщит, что меня приходили звать в волостное правление. В последнем случае я решил уйти без вещей и более уже не возвращаться. Но ни одно из этих предположений не оправдалось.

IX.

Сменившая уборку хлебов перевозка их на гумно нисколько не была легче первой. Наоборот, в виду того, что все спешили поскорее свезти все из степи в деревню, приходилось работать днем и ночью без всякого почти перерыва. Я, поэтому, дошел до того, что спал стоя на возу во время работы. Когда хозяин снизу подавал мне вилами охапки, которые, подхватив вилами, я должен был раскидывать на возу, ему часто приходилось по несколько раз окликать меня: я, таким образом, умудрялся заснуть между двумя подачами вил.

Всему, однако, приходит конец, — наступил он и для тяжелых работ. Затем осталась лишь уборка баштанов, являвшаяся скорее приятным развлечением, чем утомительным занятием: накладываешь, не спеша, арбузы на воз и ешь их до пресыщения. Уборкой баштанов заняты были исключительно я и Ваня.

Однажды, когда мы с ним ехали за арбузами, при чем я, по обыкновению, правил парой, а он лежал развалившись в телеге «хозяином», между нами произошла такая сцена.

Погода стояла чудная. На небе — ни малейшего облачка. Кругом в степи было тихо. Мы долго ехали молча, наслаждаясь отдыхом и окружавшей нас картиной.

— Ты бы, Митрий, что-нибудь рассказал, — прервал молчание хозяйский сын. — Ты разные книги читал и виды видал.

Предложение это удивило и вместе обрадовало меня. Раньше Ваня никогда не обращался ко мне с подобными просьбами. Хороший работник, скромный, молчаливый, он казался вполне равнодушным ко всему, что было вне узкой сферы хозяйских забот; никогда не вмешивался он в мои разговоры со старшими, быть-может потому, что не считал себя еще взрослым.

«Пожилые молокане косны и консервативны», — подумал я: — «может быть их молодежь окажется более восприимчивой». Сделав такое предположение, я не заставил упрашивать себя и с радостью принялся за пропаганду.

Тогда особенно популярна была нелегальная книжка, известная под названием: «Сказка о четырех братьях», автором которой является прежний главарь «Народной Воли», потом раскаявшийся и ставший редактором «Московских Ведомостей», — Лев Тихомиров. Рабочие и крестьяне обыкновенно слушали с большим инте-

ресом чтение этой сказки, так как в ней самым популярным языком рассказывалось про господствующую повсюду в России несправедливость и указывался путь к ее устранению. У меня ее не было с собою, но я хорошо знал ее содержание и принялся устно передавать его.

Я сидел в полуобороте к Ване и постепенно увлекался своей проповедью, но вдруг, в один из наиболее трогательных моментов рассказа, почувствовал удар кулаком в бок, сопровождавшийся восклицанием Вани:

— Смотри, куда правишь!

Оказалось, что лошади свернули несколько в сторону.

— И за это ты меня ударил, когда я тебе же рассказываю! — сказал я чуть не со слезами в голосе.

— Сказки сказывай, а за лошадьми смотри, не то, вишь, они телегу сломают! — спокойно ответил хозяйственный парень.

Я почувствовал невыразимое огорчение. Не удар, совершенно мною незаслуженный, расстроил меня, но тяжело было сознание, что вот молодой парень, на которого я уже стал возлагать свои надежды, из-за пустяка разбил их. Для меня стало ясно, что ничтожные житейские интересы Ване дороже всех истин, которые я мог бы ему сообщить.

Сколько затем он ни упрашивал меня закончить «сказку», я упорно отказывался. Мы молча, убрав арбузы, вернулись, когда уже стемнело, домой. Окружавшая нас картина природы уже не казалась мне столь прекрасной. То была моя первая и вместе последняя попытка спропагандировать молоканскую молодежь.

X.

Не раз во время наших религиозных споров молокане советовали мне побывать в их молельне. Меня также интересовало их богослужение, но вследствие неимоверной усталости я мог осуществить это желание лишь по окончании всех спешных полевых работ. Наконец, в одно воскресное утро я отправился в их молельню.

Все в ней поразило меня: простота обстановки, обычное, как у остальных молокан, платье их священника, а также участие всех присутствующих в пении молитв. Но особенно удивило меня, что, по окончании богослужения, из толпы вышел человек, по внешности и акценту походивший на еврея, и, заняв место священника, обратился к присутствовавшим с назидательной проповедью. Несмотря на не в полне правильную русскую речь этого проповедника, ни на чьих лицах я не заметил никакой улыбки. Наоборот, все, видимо, слушали его с таким вниманием, словно опасались пропустить какое-нибудь слово. По окончании этой проповеди, перед тем, как расходиться, мужчины и женщины целовались, «как братья и сестры во Христе», по об'яснению моего хозяина.

— Ну, что, понравилась тебе наша служба? — спросил он меня. Когда я ответил утвердительно, он сказал:

— Особенно, поди, понравилось, что у нас парни с девками целуются. Переходи, Митрий, в нашу веру, тогда с любой красавицей целоваться будешь, — закончил он с веселым смехом.

XI.

Приближалась осень. Миссию свою среди молокан я считал оконченной. Подводя итог моей пропагандистической деятельности втечение лета, я приходил к очень грустному выводу: мне казалось, что, если мои усилия остались без всяких результатов, то в этом виноват только я, вследствие моей неспособности к крестьянским работам и неумения взяться за дело. Не имея тогда сведений о судьбе остальных членов нашего кружка, я думал, что они наверно достигли положительных результатов. Такие размышления, конечно, повергали меня в невыразимую печаль. Но мало-по-малу самообвинение сменилось более или менее об'ективным анализом условий молоканской жизни, а затем не трудно было притти к выводу, что не во мне, главным образом, не в моих личных свойствах и недостатках лежала причина безрезультатности моего пребывания среди молокан.

«Да и осуществима ли, вообще, поставленная нами себе задача? Осуществим ли наш план

деятельности среди сектантов?» — задавал я себе вопросы, и, несмотря на незначительный личный опыт, отвечал на них отрицательно.

Небольшой наблюдательности и склонности к анализу было достаточно, чтобы после некоторого знакомства с молоканами убедиться, что представление, составленное нами о них по устаревшим книжкам и журнальным статьям, нисколько не соответствовало действительности. Условия жизни последователей этой секты, как и личные их свойства, делали их отнюдь не более, если не менее еще, восприимчивыми к социалистической проповеди, чем православных крестьян. Освободившись от преследований правительства, молокане успокоились в сознании совершенства своей религии и на достигнутом ими довольно высоком благосостоянии.

Считая, в виду такого вывода, свое дальнейшее пребывание среди молокан бесполезным и небезопасным, я заявил Фирсову о своем решении уехать домой. Он, а отчасти и жена его, уговаривали меня остаться, при чем делали, как им вероятно казалось, очень заманчивые для меня предложения.

— Хочешь, оставайся у меня в работниках года на три-четыре, — говорил хозяин. — За это время станешь настоящим крестьянином: сможешь не хуже любого справлять все наши работы. Женим тебя на молоканке, — уж выберем тебе девку здоровую да красивую. Ты и сам перейдешь в нашу веру: поди, видишь,

что она лучше вашей. А может женишься на Луше? Пойдешь за Митрия? — обратился отец к девочке.

— Вот еще! Куда он годится! — восклицала она, отворачиваясь в сторону, с недовольной миной.

— Подростешь, то ли скажешь! Ну, чем он не жених тебе? — дразнил ее отец.

— Не пойду, не пойду, за него долговязого! — решительным тоном, чуть не со слезами, кричала девочка.

— Ладно, ладно! Не зарекайся! — говорил он, смеясь.

Или Фирсов рисовал иные перспективы:

— Не то оставайся учителем: наберем тебе сорок или пятьдесят ребятишек, с платой по рублю за каждого за зиму, а харч и квартира понедельно у родителей.

Стараясь, таким образом, удержать меня в Астраханке, Фирсовы, повидимому, вовсе не руководились личным расчетом: нельзя же было серьезно предполагать, что они прельщались мною, как хорошим работником, а тем более, как подходящим женихом для Луши, которой не было десяти лет. Вернее предположить, что эти простые, бесхитростные люди за лето привязались ко мне, как и я к ним. За несколько месяцев моей у них жизни, несмотря на многочисленные мои промахи в работе, ни он, ни она не только не сказали мне резкого слова, но ни разу не повысили, говоря со мной, голоса.

Единственным случаем недовольства мною хозяина явился приведенный астрономический диспут, из которого я вышел посрамленным.

XII.

В течение всего лета я не только ничего не брал у хозяина из положенного им мне «бабьего жалованья», но, видя подчас его нужду в небольших наличных деньгах, сам еще снабжал его небольшими суммами. Когда часть свезенного хлеба была обмолочена и провеяна на току, Фирсов решил продать ее, чтобы расплатиться со мною и купить кое-что необходимое в хозяйстве и для членов семьи. Еще задолго до поездки с этой целью в город Фирсов рассчитывал, сообща с женой, и прикидывал вслух, сколько они выручат за такое-то количество мешков зерна, и выходило, что они никак не в состоянии купить все настоятельно необходимое. Я решил сделать им на прощанье сюрприз.

Мы сговорились отправиться вместе в город, откуда, получив все следовавшее мне, я должен был уехать по железной дороге.

Наложив полный воз, запряженный парой, хлебом, мы втроем поехали в Мелитополь. Лишь только мы в'ехали в город, как тотчас же нас обступили местные торговцы, предлагая свои цены. Хозяин рядился с ними, а когда, наконец, сделка состоялась, я помог снести и ссыпать зерно в амбар. Получив затем деньги, он

отсчитал следовавшую мне сумму. Но я взял из нее только те несколько рублей, которые сам дал ему наличными, а от заработка у него отказался.

— Да что ты, в своем ли уме? — воскликнули оба с крайним изумлением. — Все лето работал, а денег не хочешь брать!

Я заявил им, что у меня хватит на дорогу, и предложил, чтобы они сделали все нужные им закупки, а также подарки от меня детям, в особенности «моей невесте Луше».

Хозяева посмеялись по этому поводу и больше не заставили себя уговаривать. Поблагодарив меня и пожелав всякого счастья, хозяева сердечно распрощались со мною. Мы расстались и направились в разные стороны. Но, когда я отошел на довольно далекое расстояние, то услыхал, что он зовет меня: «Митрий, а Митрий!» Я остановился: «Сто лет стоит Астраханка, а такого чудака в ней не было!» — счел он, очевидно, необходимым повторить мне на прощанье [1]).

[1]) Прошло сорок с чем-то лет с тех пор. За все это время я, только однажды, в девяностых годах, будучи в Сибири на поселении, прочел в какой-то газете сообщение о молоканах из дер. Астраханки. Там говорилось, что вследствие сильно возросшего неселения, они решили часть его переселить в Сибирь. Процесс диференциации, все более и более усиливавшийся, захватил также и наслаждавшихся при мне относительным довольством молокан. Но вот недавно, зимой 1917—18 г. один тов. Сергеев, оказавшийся молоканином из дер. Астраханки, с которым я разговорился, сообщил мне, что за истекшие десятилетия произошли громадные перемены среди молокан Бердянского уезда. По его словам, их селений «узнать нельзя». Между прочим, к немалому моему удивлению, этот товарищ, — к слову, окончивший университет, — сообщил мне, что старожилы Астраханки до сих пор с большой похвалой рассказывают молодежи обо мне и моем у них пребывании, при чем к действительности, как водится, прибавляют кое-что и из воображения. Как оказывается, мои опасения, что моя проповедь осталась совершенно безрезультатной, — не оправдались. Тем лучше.

XIII.

Мое прощанье с хозяевами произошло на каком-то лугу за городом. Расставшись с ними, я прошел несколько десятков сажен по направлению в город, затем расположился на земле и, достав из мешка арбуз с хлебом, стал подкрепляться. Поев вдоволь, я прилег и предался размышлениям: спешить мне некуда было, так как поезд на север шел не скоро, а лежать, не имея никаких забот и чувствуя себя совершенно свободным, было невыразимо приятно. Только когда солнце стало совершенно скрываться за горизонтом, я направился к Энгелю, чтобы попрощаться с ним.

Он чрезвычайно обрадовался моему приходу; когда же я сообщил ему о своем намерении уехать с ночным поездом, он стал уговаривать меня остаться у него ночевать и отправиться с утренним поездом. Я на это согласился, так

как уже один тот факт, что, несмотря на мое нелегальное состояние и крестьянское обличье, он не боялся оставить меня у себя на ночлег, — много, по тому времени, говорило в его пользу, а также, конечно, и его принципалов, которым, понятно, сильно влетело бы за это при каком-нибудь неблагоприятном стечении обстоятельств.

Хорошо поужинав, мы потом далеко за полночь беседовали о молоканах. Помню, Энгель вслух выражал свое удивление по поводу моей выдержки, настойчивости и еще других, по его мнению, проявленных мною за время знакомства с ним, чертах характера. Говорили мы также, вообще о нашей, социалистов, деятельности, о политике и пр. Но, хотя мы вели обычную между интеллигентными людьми беседу в культурной, студенческой обстановке, я все же, помню, чувствовал себя еще далеко от действительности, — словно я очутился в совсем чуждой мне среде, до того мои привычки и помыслы крепко связаны были с покинутыми мною молоканами.

Условившись с Энгелем о способе переписки, я, чуть стало светать, попрощался с ним и направился на железнодорожную станцию, где взял билет до Харькова.

*

Обратное путешествие я совершил скорее первого. Поместился я под скамейкой, где удобнее

было растянуться во весь рост и благодаря чему я избегал не совсем удобных для меня расспросов попутчиков. К тому же я, действительно, чувствовал большую физическую усталость, почему в пути я все время спал с небольшими лишь перерывами для еды.

В Харькове Глушковы — мать и сын — чрезвычайно мне обрадовались. Оба проявляли ко мне такую заботливость и внимание, словно я был выздоравливавшим после тяжкой болезни. Я, конечно, поделился с ними своими впечатлениями по поводу моего пребывания в народе, что они находили очень интересным, а Иван Ионыч к тому же настаивал, чтобы, по возвращении в Киев, я непременно занес все пережитое за лето на бумагу и отправил бы во «Вперед». Я обещал ему сделать это, но, увы, осуществил это только тридцать четыре года спустя, в 1910 г., когда многое поблекло или совсем было забыто мною.

В первый свой приезд в Харьков со Щепанским, мы с ним, в виду наших сборов «в народ», никого, кроме Глушковых, не видели там. Теперь же, переменив крестьянское свое обличье вновь на обычное, интеллигентское, я захотел познакомиться со всеми теми товарищами, с которыми был близок Иван Ионыч Глушков. Их оказалось немного, — всего человека три-четыре. Подробнее о них сообщу в другом месте; здесь скажу лишь, что ничтожное число нашего брата — социалистов в то время в несколь-

ких городах, посещенных мною по дороге «в народ» и обратно, помню, вызвало во мне недоумение, а подчас и опасение в том, можем ли мы и в будущем иметь большее число последователей. Эти мысли вызывали во мне большую тревогу, но я не делился ими ни с кем.

На этот раз я в Харькове пробыл дольше, чем в первый свой приезд, и еще теснее сошелся с Иваном Ионычем, а также и с его добрейшей матушкой. Установив с ними «организационную» связь, как мы тогда выражались, т.-е. условившись о шифре, химическом способе переписки, об адресах и пароле, мы горячо распрощались, и я направился уже без других остановок в Киев.

Родные и знакомые нашли меня сильно возмужавшим и физически поправившимся за истекшее лето. Жизнь «в народе», действительно, в высшей степени благотворно на меня подействовала. Мускулы мои до того окрепли, что я стал бороться с лицами, бывшими на вид значительно меня сильнее и, за редкими исключениями, я оставался победителем.

XIV.

Живя в течение лета в народе, я решительно ничего не знал о том, что сталось со всеми остальными товарищами-сочленами кружка, так как мои корреспонденты ничего о них не сообщали, потому что сами не получали от них

известий. По возвращении осенью в Киев, я нашел там некоторых из многочисленной группы, отправившейся в низовье Волги искать «бегунов», а также и всех почти побывавших у штундистов. Оказалось, что после тщетных розысков сторонников от всего убегавшей секты в Царицыне, Астрахани и других местах, эта группа товарищей должна была вернуться обратно ни с чем, даже не узрев ни единого подлинного «бегуна».

Счастливее была группа, избравшая ареной своей деятельности штундистов. Но и она о результатах своей деятельности почему-то избегала говорить, и только из отрывочных их сообщений можно было заключить, что ее постигла какая-то неудача.

О судьбе одного лишь Фесенко долгое время решительно ничего не было известно, — он словно в воду канул. Только год спустя, я увидел его в Петербурге и услыхал о следующем траги-комическом происшествии, случившемся с ним.

В чудный майский день прибыл он в какое-то селение одной из южных губерний, где, согласно источникам, должны были находиться сторонники избранной им секты. В тот же вечер его повели на собрание, на котором он должен был пред всеми изложить свое учение. Как бывший семинарист, прекрасно знавший священные книги, Фесенко сыпал цитатами и свободно толковал тексты. Он нарисовал перед

слушателями мрачную картину современного положения трудящегося населения и указал им на грядущее будущее. Увлекаясь сам своей речью, Фесенко увлек и всю аудиторию. Слушатели были поражены, как его знаниями и вдохновенностью речи, так и внешностью, вполне напоминавшей пророка. Под конец Фесенко до такой степени экзальтировал этих впечатлительных сектантов, что многие из них прямо пришли в религиозный экстаз. И вот произошло нечто совершенно невероятное и, во всяком случае, вполне неожиданное для ярого последователя Карла Маркса, выступившего в роли ревателя Карла Маркса, выступившего в роли религиозного проповедника: сектанты, окружив тесным кольцом Фесенко, подхватили его затем на руки и стали вертеться с ним по избе, радостно восклицая: «Он пришел! Он тут! Он с нами!»

В это же время на дворе разыгралось совсем иного рода происшествие.

Кроме этих сектантов, оказавшихся вовсе не молоканами, а «шелопутами», или, может быть, как-нибудь иначе называющимися, — в этом селе было также и много православных крестьян. Между теми и другими, как это всегда происходит в таких случаях, существовала непрерывная и ожесточенная вражда. Заметив у окон и у входа скопление сектантов, которые, за отсутствием мест, не могли попасть внутрь, православные заинтересовались, что происходит там. Сектанты, понятно, не хотели допускать

их близко к окнам и двери; последовал обмен ругательств, закончившийся, конечно, «взаимным мордобитием». На место происшествия не замедлили явиться власти, которые, узнав, что к раскольникам явился новый проповедник, вошли в избу, как раз в то время, когда происходило общее ликование и шум.

Оказалось, что какой-то вполне осведомленный сектант предсказал скорое прибытие «пророка», и ему-то всеми чертами вполне соответствовал наш марксист...

Само собою разумеется, что власти не постеснились арестовать этого нового пророка. Затем пошло мыканье его по полицейским участкам и тюрьмам. На допросах Фесенко показывал, что он отправился к сектантам с чисто научной целью, — для ознакомления с их вероучением и бытом, и не его вина, что они приняли его за пророка.

Хотя жандармы и прокуроры сомневались в правильности его рассказа, но изобличить его не могли, так как сектанты, конечно, не выдали содержания его речи, обращенной к ним. Побившись, поэтому, с ним около года, его, в виду болезни и за отсутствием прямых улик, выпустили на поруки.

Рассказывая мне весной 1876 г. об этом изумительном приключении, Фесенко сам разражался громким смехом.

На этой проповеди, длившейся несколько часов, закончилась его попытка превратить на-

ших сектантов в сознательных социалистов, к чему он и все мы, его последователи, так долго готовились...

Таким образом, мое пребывание «в народе», представлялявшееся мне столь жалким и неудачным, в конце концов, оказалось менее печальным, чем у других. Единственным же положительным результатом «хождения в народ» всего нашего кружка было лишь то, что все его члены вернулись здравыми и невредимыми. Решительно никаких «основ» мы не подорвали, все осталось в прежнем виде и состоянии. Между тем, будь мы тогда арестованы и раскрой жандармы «план» Фесенко поднять сектантов, — подобно тому, как это тогда и много десятилетий спустя происходило, — все мы очутились бы в тюрьмах, в Петропавловске, на каторге и в Сибири. Но, не подвергшись никаким преследованиям со стороны правительства, кружок наш сошел со сцены совершенно незаметно, не оставив в целом почти никаких следов.

*

Аналогичных кружков из совершенно зеленой молодежи, как я уже сказал, в то время было не мало в разных городах. Возникая быстро, они также скоро исчезали, при чем участники их возвращались «в первобытное свое состояние».

То же случилось и с нами: по возвращении из печального путешествия «в народ», мы ни разу даже не собрались вместе, хотя бы для

того, чтобы дать друг другу отчет о своей деятельности и распуститься. Мы молча перестали признавать какие-либо между собою обязательные отношения и разбрелись, кто куда хотел. Впоследствии только четыре бывших члена нашего кружка привлекались по разным процессам и попали на каторгу, а Дмитрий Лизогуб, как известно, был повешен в Одессе осенью 1879 года. Фесенко, по выходе из тюрьмы, остался в Петербурге, где мы вскоре (весной 1876 г.) вновь свиделись. Он и там играл очень видную роль среди молодежи и рабочих.

После неудачной своей попытки спропагандировать сектантов, он уже более не собирался в народ и принялся за занятия с рабочими, что, конечно, больше соответствовало его взглядам и стремлениям. Об успешности этих его занятий мы имеем очень лестный отзыв столь компетентного судьи, как покойный Г. В. Плеханов.

«Существенную пользу рабочие, — писал он, — могли выносить только из лекций политической экономии И. Ф. Фесенко. Этот, к сожалению, слишком рано умерший человек очень недурно знал выбранный им предмет и умел изложить его общедоступно и увлекательно. Но лекции его продолжались всего несколько месяцев» [1]).

Продолжать эти занятия ему помешала болезнь, в сильной степени развившаяся у него

---

[1]) См. «Русский рабочий в револ. движении», изд. «Пролетарий», стр. 19.

вследствие его пребывания в тюрьме. Вскоре по выходе из нее, он встретился с учившейся на медицинских курсах сестрой моей Марией, с которой быстро сошелся. Когда врачи стали настаивать на необходимости отправить Фесенко на юг, сестра моя, бросив курсы, повезла его в Одессу, где ему, тяжко больному, все же пришлось работать: ему предоставили место смотрителя какого-то детского приюта в Одессе.

Неизлечимый недуг — туберкулез — развивался все далее. Несмотря на сильные приступы болезни, заставлявшие его по долгу не вставать с постели, он продолжал заниматься с приходившими к нему молодыми людьми, студентами и рабочими. Когда же весть об этой его деятельности дошла до жандармов, решено было «из'ять его», отправив в Сибирь в административную ссылку. Явившиеся для выполнения этого распоряжения жандармы нашли его окончательно прикованным к смертному одру. Тем не менее, они время от времени являлись, чтобы убедиться, нельзя ли его, хотя бы больного, отправить в Сибирь. Наконец, весной 1881 года, после убийства Александра II, пришло категорическое приказание отправить Фесенко, несмотря на состояние его болезни.

Явившиеся с этой целью жандармы нашли его мертвым. Им пришлось унести его труп, что они и сделали, несмотря на мольбы его жены, от которой власти скрыли время и место его погребения, и на ней, решительно ни в чем

неповинной, выместили свою злобу: ее с грудным ребенком отправили в Сибирь, позволили затем ей задержаться в Казани, для погребения также умершего младенца...

Фесенко скончался тридцати пяти лет от роду. На каторге и в Сибири мне потом приходилось встречать интеллигентов и рабочих, являвшихся его учениками, и с благодарностью вспоминавших его с ними занятия. Жизнь его не прошла бесследно.

Южные бунтари.

I.

До возвращения из народа, т.-е. до осени 1875 г., я был «лавристом», так как признавал необходимость ведения пропаганды в народе: это, как известно, являлось в те времена главным пунктом разногласия между «бакунистами» и «лавристами». Но пребывание втечение лета среди молокан в сильной степени разочаровало меня в плодотворности пропаганды.

Я уже сообщил, как апатично, вернее — отрицательно молокане отнеслись к моей проповеди, и как сильно это меня огорчало. «Если так равнодушны к нашим взглядам эти толковые, грамотные крестьяне, — рассуждал я, — то чего же можно ждать от проповеди всеобщего равенства и счастья среди неграмотных православных пахарей, недавно лишь освобожденных от крепостной зависимости?» Для меня было ясно, что следует найти какой-нибудь другой способ деятельности, но я сам не мог его придумать.

Вскоре затем я узнал, что то же недоумение, та же потеря веры в плодотворность пропаганды

социализма народу была темой горячих дебатов, происходивших осенью и зимой указанного 1875 года в Петербурге на собраниях революционной молодежи. Но, очутившись, по возвращении от молокан, совершенно вне всякой связи с кем-либо из активных деятелей, я решительно ничего не знал о том, что происходит не только в столице и в крупных городах, но даже в моем родном Киеве.

Доктор Эмме уехал, Колодкевич, кажется, сидел в тюрьме или, вообще, не проявлял никакой активности, а других пожилых, солидных лавристов, с которыми я мог бы потолковать и посоветоваться, или не было в Киеве, или я их почему-либо не встречал.

Мое положение было, поистине, отчаянное, хуже даже, чем в минувшем году, когда я надумал покинуть Киев, чтобы попробовать свои силы в каком-нибудь губернском городе, так как тогда все же было несколько опытных мужей, с которыми я мог побеседовать, душу отвести. А теперь, будучи в большом, университетском, к тому же чрезвычайно любимом мною городе, в котором у меня была масса знакомых, я чувствовал себя так, словно очутился в новом, чужом мне месте.

Было от чего притти в отчаяние, впасть в пессимизм. Но от того и другого меня спасло крупное политическое событие, начавшееся на Балканском полуострове в то время, когда я, ничего этого не зная, занимался мирным земле-

дельческим трудом в молоканской деревне Астраханке.

Как известно, разразившиеся весной 1875 года восстания в Боснии и Герцеговине вызвали у нас сильнейшее возбуждение, вылившееся в сборе пожертвований и в движении на Балканский полуостров в качестве добровольцев. Лица самых разнообразных слоев населения желали сражаться за освобождение от турецкого ига братьев-славян.

Это увлечение не миновало и нас, социалистов: многие, в числе которых были такие крупные представители революционного движения, как Д. А. Клеменц, С. М. Кравчинский и др., также отправились в Герцеговину.

И, вот, в то время, когда я в полном одиночестве ломал голову над разрешением вопроса: «как быть?» «что предпринять?» — мне один знакомый студент, далекий от революционеров, сообщил к слову, что он от кого-то слыхал, будто даже сильно разыскиваемый полицией, «нелегальный» Яков Стефанович собирается на Балканский полуостров, в качестве волонтера. Этот слух, — как нередко происходит подобное в жизни каждого, — сыграл огромную, колоссальную роль в моей судьбе. Но предварительно я должен здесь сказать несколько слов о Я. Стефановиче.

Мы с ним одновременно учились в киевской первой гимназии, но он был старше меня на два года и выше меня на два класса. Уже в гимназии он пользовался репутацией очень умного, серьезного, выдержанного юноши. Затем, поступив по окончании гимназии на медицинский факультет местного университета, он выбыл из него со второго курса, будучи, подобно многим тогда, захвачен начавшимся движением «в народ». За несколько лет до этого мы потеряли друг друга из виду, так как, дошедши до четвертого класса, я перевелся во вторую гимназию, и известия о Стефановиче стали доходить до меня только, когда и я сделался революционером. Общие о нем отзывы были самые лестные: не только единомышленники, «бакунисты», к которым Стефанович принадлежал, но также «лавристы», и даже лица, мало расположенные к социалистам, относились к нему с большим уважением.

Сохранив о нем из гимназии наилучшие воспоминания, я стремился повидать его, как только сам стал революционером. Но, как я уже сообщил в первом своем очерке, вследствие чрезвычайного тогда разгрома, немногие уцелевшие от него разбежались из Киева, кто куда имел возможность. Стефанович был в их числе и, чтобы «замести следы», он на время отправился за границу, а затем, вернувшись вскоре обратно в Россию, в качестве «нелегального», опять отправился в народ. Переданный мне знакомым студентом слух, что он также собирается на Балканы, был для меня особенно приятен: «коли Стефанович, этот прямой, беззаветно пре-

данный народным интересам и выдающийся революционер, находит возможным сделаться волонтером, почему же и мне не последовать за ним?» — спрашивал я себя и, не находя никаких «против» этого вопроса, тут же решил его в утвердительном смысле. Для меня являлось большой, чтобы не сказать непреодолимой трудностью повидать Стефановича, так как, будучи «нелегальным», он тщательно скрывал место своего пребывания. Между тем, мне естественно хотелось, прежде записи в число волонтеров, переговорить с ним, как с человеком, уже сделавшим это. Знакомый студент, передавший мне это известие, обещал через разных вторых и третьих лиц попытаться устроить мне с ним свидание. Но тщетно проходили дни за днями, — а добраться до Стефановича ему все не удавалось. Наконец, не помню уже через сколько времени, все тот же студент сообщил мне, как достовернейший факт, что Стефанович уже не едет, так как от раньше отправившихся волонтеров получились письма, в которых описываются неимоверные страдания, испытываемые ими в походах по скалистым местностям при невероятно высокой температуре. Совершенно выбиваясь из сил, они в полном изнеможении падают по пути. Это вызывает у местных воинов негодование и возмущение, так как им приходится таких слабосильных волонтеров поднимать, а то и носить на себе, что задерживает шествие отряда, и, вместо помощи, получается, наоборот, только

увеличение тягости партизанской войны. Злоба против волонтеров временами доходила до того, что туземные участники отрядов не только отказывались нести пришлецов на себе, но готовы были тут же приколоть или пристрелить их, и начальникам отрядов стоило нередко больших усилий не допустить до таких расправ. Иногда последние на себе переносили по тяжелой и опасной в военном отношении местности ослабевшего русского добровольца.

Приведши не мало аналогичных иллюстраций, авторы писем заклинали своих товарищей не ездить на Балканы в качестве волонтеров.

Узнав о всех этих печальных фактах, я, конечно, также отказался от своего намерения. И вновь предо мною стал вопрос: «Что мне делать? Что предпринять?» Я не отказывался, как другие члены бывшего нашего кружка, от раз избранного мною революционного поприща. Наоборот, я чувствовал в себе достаточно сил и способностей работать именно на нем, но я решительно не видал для себя к тому практической возможности. Поэтому, когда мне с грустью пришлось отказаться от мысли, к которой я, было, уже привык, — сделаться волонтером, мое душевное состояние стало еще более тяжелым, чем оно было раньше. Случайное известие вновь вывело меня из, казалось, безисходного положения: я услыхал, что один мой товарищ по гимназии поступил на службу в качестве вольноопределяющегося второго разряда, т.-е.,

по правилам того времени, всего на шесть месяцев. Мне же предстояло тянуть жребий еще через год.

«Почему бы мне также не поступить теперь вольноопределяющимся?» — спрашивал я себя. Сборы в течение некоторого времени в волонтеры до известной степени приучили меня к мысли о военном деле, а отказ, столь меня огорчивший, от поездки на Балканы, в значительной степени обусловливался отсутствием у добровольцев военной подготовки и сноровки, которые легко будет приобрести на службе вольноопределяющимся. Между тем в будущем может представиться вновь необходимость принять активное участие в борьбе за свободу. Возможно даже, что и у нас, во время революции, понадобятся люди, знающие военное дело. К тому же солдатская среда также является подходящей ареной для распространения наших социалистических взглядов, хотя это занятие там и сопряжено со страшным риском. Наконец, — и это было, вероятно, превалировавшим обстоятельством, — мне, повторяю, решительно некуда было деваться, между тем как мне страстно хотелось взяться за какое-либо дело, хотя бы и сопряженное с лишениями, риском и опасностями.

В виду всех этих обстоятельств и соображений я поздней осенью (в конце ноября того же 1875 г.) поступил своекоштным вольноопределяющимся в пехотный полк, расположенный в

той части Киева, — на Подоле, в котором жили мои родные.

Положение «своекоштного» давало мне право жить не в казармах, а в своей квартире, что представляло массу удобств: после немногих часов обязательного ежедневного обучения строевой службе, все остальное время было целиком в моем распоряжении, и я мог, когда угодно, уходить из дому, возвращаться назад, видаться с кем я хотел, и т. д. Но эти-то преимущества, как вскоре затем оказалось, и были причиной гибели избранной мною военной карьеры.

II.

Мать и другие близкие мои, боявшиеся, что я, как революционер, легко могу очутиться в тюрьме, были рады принятому мною решению поступить на службу в качестве вольноопределяющегося: они полагали, что таким образом я, как военный, буду воздерживаться от революционной деятельности и, следовательно, гарантирован от ареста. Вышло как раз наоборот: тотчас же после зачисления, еще до того, как портной приготовил мой военный мундир, я уже начал вести пропаганду среди сослуживцев. Мало того. По правилам того времени вольноопределяющийся прежде всего должен был представиться своим начальникам — батальонному и ротному командирам, что я также исполнил. Ротный командир оказался очень любезным, симпатичным

и неглупым человеком. Пригласив меня сесть, он начал со мною беседовать о разных вопросах, и я, увлекшись, стал доказывать ему, насколько возмутительны «в наш век» и войны, массовые убийства, и предназначенная для этого «специальныя каста». Услыхав такие взгляды, ротный с добродушной улыбкой сказал:

— Советую вам, молодой человек, подобных взглядов не высказывать среди сослуживцев, а то наживете себе бед. Я, однако, не последовал этому совету, и у себя на квартире, а также иногда в казарме наедине с отдельными солдатами вел беседы на самые опасные темы: наиболее же смышленным из них читал у себя на дому подпольные произведения — «Сказку о четырех братьях», «Хитрую механику» и т. п., тогда популярные книжки. Почти одновременно с поступлением на службу у меня завязались также сношения с находившимися в Киеве бунтарями, о пребывании которых я узнал, благодаря следующему обстоятельству.

Один мой знакомый, адресом которого я пользовался для переписки, сообщил мне, однажды, что к нему приходила какая-то приезжая девица, привезшая мне откуда-то письмо и желавшая его передать только лично.

Вскоре мне удалось ее разыскать. Письмо оказалось от Ивана Ионыча Глушкова из Харькова, и привезшей его девицей была Вера Ивановна Засулич. Глушков, помню, рекомендовал ее с лучшей стороны и просил оказать ей

содействие в устройстве в новом для нее городе. Но в последнем она уже не нуждалась, так как успела поселиться в притоне киевских бунтарей, о котором скажу несколько слов.

В старом деревянном доме вблизи университета, на Тарасовской улице, снимали в нижнем этаже, окнами на улицу, небольшую квартиру родители Владимира Дебагория-Мокриевича. Несмотря на то, что полиция усиленно его разыскивала, он не только сам месяцами жил у родных, но одновременно там подолгу останавливались также вновь приезжавшие и, вообще, нуждавшиеся в приюте бунтари. С раннего утра и далеко за полночь, а то и до рассвета, там останавливалась масса самых крайних тогда революционеров, большинство которых составляли «нелегальные».

Родители Владимира Мокриевича, — отставной полковник и в особенности мать его, полька по происхождению, — относились с безграничной заботливостью и вниманием ко всем товарищам их сына, — словно то были их собственные дети. Каждый являвшийся к Владимиру Карповичу товарищ чувствовал себя в его квартире, как в родной семье, и, несмотря на то, что эти непрерывные посещения, производившие толчею и шум, не могли не причинять больших беспокойств старикам, с их уст решительно никогда не срывалось ни малейших замечаний, а тем более упреков. Так длилось втечение нескольких лет подряд.

По той же улице имелось, так сказать, «филиальное отделение» бунтарского «притона», — квартира в две комнаты, которую снимала Лидия Павловна Барышева, урожден. Воронцова, — сестра известного писателя-народника «В. В.». В этом обиталище помещались те, которым не находилось места у Дебагория-Мокриевича. Между обоими квартирами существовала самая тесная связь, — лица, проживавщие в них и посещавшие их, непрерывно переходили из одной в другую, что в то время не вызывало ни в ком подозрений, так как в студенческих кварталах это считалось нормальным явлением.

Околачивавшиеся в этих «притонах» бунтари, несмотря на сильную нелегальность большинства из них, не опасались ночных нашествий полиции, хотя им было хорошо известно, что заведывавший тогда в Киеве политическим розыском жандармский ад'ютант барон Гейкинг знал о существовании на Тарасовской улице этих квартир: беседуя с поднадзорными или с родственниками арестованных, он нередко, к слову, заявлял об этом, при чем, чтобы показать свой либерализм и гуманность, прибавлял: «я знаю, что там находятся Дебагорий-Мокриевич, Стефанович, Анна Макаревич и другие, и я мог бы их задержать, но пока я не получаю прямого на то распоряжения свыше, зачем мне это делать?» В действительности было не совсем так. Полной уверенности, что «нелегальные» скрываются в указанных «притонах», у Гейкинга

всеже не было; между тем, до него дошел слух, что «бунтари» решили оказывать вооруженное сопротивление при арестах. В виду этих-то обстоятельств храбрый жандармский офицер не решался рисковать своей жизнью и не доносил, куда ему следовало, об открыто существовавщих в Киеве «притонах».

Никакой решительно слежки, как за этими квартирами, так и за их обитателями, барон Гейкинг не установил, что нам было достоверно известно. Вот почему «нелегальные» жили в Киеве, как у бога за пазухой.

В квартире, которую снимала Лидия Павловна Барышева, и поселилась Вера Ивановна Засулич. Когда я в первый раз пришел в этот «притон», я застал человек десять обоего пола, из которых знал только Якова Васильевича Стефановича, да и то будучи мальчиком. Отношение этих бунтарей, как друг к другу, так и ко мне, впервые появившемуся среди них, сразу расположило меня в их пользу: я скоро почувствовал, словно пришел в давно мне знакомую семью, в которой много живой, симпатичной и интересной молодежи. Все обитатели притонов обращались друг к другу на «ты» и назывались уменьшительными именами: «Маша», «Маруся», «Василек» и т. п... Ко мне они отнеслись сразу за-просто, тепло, искренно.

Явился я к ним в новеньком мундире вольноопределяющегося, сделанном на собственный счет. Помню, это было в сумерках, в субботу.

Мне тогда уже минуло 20 лет, но, в виду отсутствия растительности на лице и бороде, я выглядел несколько моложе. Среди присутствовавших бунтарей я казался совсем юнцом, так как, за исключением Василия Павловича Лепешинского (он-то и назывался «Васильком»), являвшимся моим ровесником, все остальные были значительно старше нас двоих.

Никто специально не занимался мною. Кажется, Вера Ивановна перекинулась со мною несколькими фразами по поводу «Ионыча» и других наших общих харьковских знакомых. Она же, вероятно, предложила мне воспользоваться стоявшим на столе чаем и обычной в студенческих квартирах закуской, — колбасой, сыром и пр.

Вечер прошел для меня совершенно незаметно в разговорах, шутках, пении малороссийских песен. Когда наступила полночь, я охотно принял чье-то предложение остаться там ночевать, так как до моей квартиры, находившейся на Подоле, было порядочное расстояние. Устроили меня рядом с другими, на разостланном на полу пледе, — не помню, что именно служило мне, как и другим, подушкой, одеялом, да едва ли и были эти постельные принадлежности. Тем не менее, вдоволь наговорившись и попевши, я, как наверно и все остальные, отлично заснул, ни мало не беспокоясь о возможном посещении барона Гейкинга с жандармами.

После этого вечера я охотно стал посещать

«притон», но в виду далеко неблизкого от меня до него расстояния и моих служебных занятий, я мог делать это не чаще, чем раз в неделю. Приходил я всегда пред вечером, без всякого повода, — только затем, чтобы ближе познакомиться с «бунтарями», которые с каждым моим посещением все более мне нравились. Хотя о своих практических задачах ни со мною, ни друг с другом при мне никогда не говорили, все же большинство их производило на меня впечатление умных и решительных революционеров. Особенно привлекательными чертами, которые присущи были им тогда, являлись их жизнерадостность, бодрость, энергия, и в каждой произнесенной кем-либо из них фразе сквозила, как мне тогда казалось, глубокая вера в правильность исповедуемых ими убеждений и в избранный ими путь деятельности.

Мое сближение с ними шло, поэтому, чрезвычайно быстро. По прошествии пары-другой недель я со всеми ними был на «ты», и тем не менее никто не посвящал меня в планы и задачи кружка. Это, понятно, об'яснялось конспиративными соображениями, так как, в виду моей службы, я не мог немедленно принять непосредственное участие в деле. Но из отрывочных замечаний, делаемых тем или другим, — правда, очень редко, — мне не трудно было с течением времени понять, что большинство околачивавшихся в этом притоне лиц являлось не только близкими друг другу знакомыми и единомыш-

ленниками, но также и членами тесного революционного кружка, поставившего себе чрезвычайно важную и какую-то очень опасную цель. В чем именно последняя состояла, а также — кто из этих лиц входил непосредственно в кружок, я узнал лишь несколько месяцев спустя после знакомства и сближения с этими бунтарями. Не трудно было также вскоре заметить, что главную, самую видную роль в этом кружке играл Владимир Карпович Дебагорий-Мокриевич, которому, несмотря на солидный его возраст, — ему тогда было лет под тридцать, между тем, как остальные были значительно его моложе, — почему-то присвоена была кличка «Мишка». Он являлся общепризнанным лидером или, как в те времена принято было говорить, «генералом», хотя сам он не только ничем решительно не проявлял никаких претензий на верховодство, но всегда резко высказывался против кружковых «генералов». Всегда в добродушно- веселом настроении, жизнерадостный, разговорчивый «Мишка» охотно говорил и спорил о чем угодно; он много рассказывал из своего и тогда уже довольно богатого всевозможными происшествиями, как революционного, так и личного характера, прошлого, Он был остроумен, находчив, умелый спорщик, всегда способный опровергнуть любого, значительно более его образованного противника. При этом он не только не обладал большой эрудицией, но, наоборот, для своего ума и положения в революционной

среде, отличался как раз обратным, — был совсем мало начитан и в этом отношении уступал большинству тогдашних «лидеров», а также и некоторым членам своего кружка. Едва ли будет преувеличенным, если скажу, что в описываемое мною время Владимир Карпович не читал даже таких популярных тогда книг, как «История цивилизации в Англии» Бокля, «Положение рабочего класса» и «Азбука социальных наук» Флеровского, «Исторические письма» Миртова и т. п. произведений, с которыми большинство тогдашней передовой молодежи знакомилось еще на школьной скамье. А Мокриевич, как сам он сообщает в своих интересных «Воспоминаниях», будучи в университете, «посещал лекции, но по вечерам нередко, подобно другим, таскался по трактирам, где простаивал иногда за полночь у биллиардов, наблюдая за игрою; сам редко играл, так как не имел денег. Иногда мы просиживали вечера за шахматною доскою, разбирая партии американского шахматиста Морфи, пользовавшегося в то время большою известностью. Так проводилось время в Киеве. На вакации я уезжал в село Луку-Барскую к родителям, и там моя жизнь совершенно менялась. Я бродил по окрестным лесам с ружьем, или же так просто шатался по нашей огромной усадьбе среди дерев и бурьянов. Часто отправлялся на косьбу или на другие полевые работы и т. д.» [1]).

---

[1]) См. „Воспоминания" стр. 33—34. Книгоиздательство «Свободный Труд». 1906 г.

Страсти к чтению у Владимира Карповича, по-видимому, не было от рождения, а в юношеском возрасте в оправдание этого равнодушия у него еще присоединилась теория Бакунина, как известно, решительно отрицавшая необходимость научной подготовки для роволюционной деятельности. Как самый ярый тогда последователь апостола разрушения, успевший, будучи в Швейцарии в 1874 г., не только познакомиться, но даже перейти с ним на «ты», Дебагорий-Мокриевич в своем отрицательном отношении к теоретическому развитию доходил буквально до геркулесовых столбов: сам ничего серьезного не читая, он чуть не возмущался и, во всяком случае, высмеивал других, занимавшихся этим, по его убеждению, вредным препровождением времени. Более того, мне, да и другим, он не раз самым серьезным образом доказывал, что он был бы очень доволен, если бы забыл и то немногое, что приобрел в гимназии и университете, так как, мол, он стоял бы тогда ближе к совсем безграмотной народной массе, и ему легче было бы ее понять и сблизиться с нею.

Однако, это предпочтение невежества умственному развитию не удерживало «Мишку», как я уже упомянул, от вступления в споры даже с очень начитанными оппонентами. В этом, кроме природных диалектических способностей, не в малой степени помогала ему необычайная его смелость: схватывая на лету те или иные факты, положения, взгляды, нередко заимствуя их

от своего же собеседника, «Мишка» все узнанное тут же пускал с отвагой в ход, не всегда, впрочем, кстати и правильно, почему иногда и попадал впросак. Так, припоминаю один его спор со мною и с покойной Верой Ивановной Засулич, происшедший, правда, несколько лет спустя после описываемого мною в настоящей главе времени, а именно летом 1881 г., когда, бежав из Сибири, он приехал в Швейцарию, где мы с нею тогда проживали.

Речь зашла у нас о «судьбах России». Как принято было, — с легкой руки начавшего тогда входить в моду небезызвестного «экономиста» В. В., — «теория Маркса» считалась «неприменимой» для нашей родины. В своих скитаниях по разным местам заключения Владимир Карпович, конечно, наслышался от других, а затем и сам начал повторять эту ставшую стереотипной фразу. К ней-то прибег он и во время беседы с нами по поводу неизбежности для нашей родины пережить капиталистическую фазу: этот вопрос, как известно, в сильнейшей степени занимал тогда всю передовую часть нашего общества; за разрешением его Вера Ивановна обратилась как-раз в то именно время, письменно, к Марксу и Энгельсу, о чем в своем месте сообщу подробно.

— Вот ты говоришь, что «теория Маркса» не применима к России, но откуда ты это почерпнул, разве ты прочитал его «Капитал»? — спросил я, желая его поддеть.

— Да, читал эту книгу во время моего пребывания в тюрьмах, на этапах и в Сибири, — правда, не всю, но все же значительную ее часть, и я убедился, что теория Маркса, — очень остроумная и ловко им аргументируемая, к России совсем не применима.

Зная давно «Мишку», я не убедился этим его заявлением и продолжал допытывать его, много ли он одолел страниц «Капитала». Помнится, он ответил, что около 200.

— И из них ты убедился, что теория Маркса к России не применима?

— Да! — смело заявил он.

— Но на указанных тобою страницах Маркс трактует о «товарах и деньгах», о «процессе обмена», об «обращении товаров», о «превращении денег в капитал»...

И мы с Верой Ивановной доказали нашему смелому оппоненту, что в этих главах развиваются общие экономические законы, одинаково применимые к любой стране.

Увидев себя побитым, Владимир Карпович, помню, только воскликнул:

— Ну, и вызубрили же вы эту книгу!

— А ты признайся, что не прочел и 200 страниц, — пристал я.

— Нет, право, пробовал, да скучно показалось, — начал он сдаваться.

Конечно, «Капитала» он не читал и говорил с чужого голоса. Но возвратимся к «Мишке», каким он был в южно-бунтарском кружке в 1875—1876 гг., когда и я входил в его состав.

Он был тогда полон сил и энергии, всегда носился с разными, самыми решительными, даже — отчаянными планами, о чем сообщу подробно ниже; он проявлял большую инициативность и находчивость. «Мишка» редко сидел без какого-нибудь дела: если не спорил с кем-нибудь, пуская в ход всевозможные парадоксы и гиперболы, то играл в шахматы, стрелял из револьвера в цель, точил или приготовлял фальшивые паспорта, вырезывая печати и пр.

Выглядел тогда «Мишка» здоровым, прекрасно сложенным, с привлекательными, очень выразительными и энергичными чертами лица мужчиной, почему и пользовался огромным успехом среди женщин.

В описываемое мною время Дебагорий- Мокриевич находился в супружеских отношениях с Марьей Павловной Ковалевской, урожденной Воронцовой, сестрой писателя В. В. Из женщин «Маруся», как все ее называли, являлась не только одним из наиболее выдающихся членов нашего кружка, но и одной из самых крупных участниц революционного движения 70-х годов, что она доказала во время своего ареста, процесса, пребывания на каторге и, особенно, своей мученической смертью на Каре. Отсылая интересующихся жизнью, деятельностью и трагической участью этой замечательной женщины к моей книге «16 лет в Сибири», где я довольно

подробно сообщаю о ней, я здесь ограничусь лишь немногими словами.

Когда я с нею познакомился, ей было лет около 25-ти. Небольшого роста, с очень смуглым, даже цыганским цветом лица, большими темно-карими глазами и черными, как смоль, волосами, Маруся не была красивой женщиной, но на всех решительно она производила обаятельное впечатление своим сангвиничным темпераментом и изумительной живостью. Кровь в ней всегда клокотала, минуты она не могла сидеть молча, без дела.

Как и Дебагорий-Мокриевич, Маруся любила беседы, споры, пение малороссийских песен и товарищеские попойки, сопровождавшиеся веселым, заразительным смехом. По своим убеждениям она также являлась сторонницей самых крайних и наиболее решительных приемов борьбы. Страстно, беззаветно любя «Мишку», ради которого она рассталась со своим мужем, учителем гимназии, — известным украинофилом, Ник. Вас. Ковалевским, — и с годовалой своей девочкой Галей, Маруся, тем не менее, вечно спорила, по любому поводу, с Мокриевичем, проявляя при этом изумительные диалектические способности. Как и он, Маруся не отличалась большой начитанностью и любовью к книгам, что отчасти об'яснялось ее институтским воспитанием. Все же она производила впечатление человека более знакомого с мировой литературой, в особенности с изящной, чем Владимир

Карпович. Не пережив в такой степени, как многие другие передовые женщины той эпохи, «нигилизма» 60-х годов, Маруся, тем не менее, была насквозь пропитана его отрицательным отношением ко всем устаревшим догматам, обычаям, понятиям. Она являлась крайней «реалисткой», подобно Базарову, решительно ничего не боявшейся, ни с чем не считавшейся. Временами могло казаться, что Маруся хватает через край, особенно, когда речь заходила о половых отношениях, но в словах ее никогда не было ничего вульгарного. Закончу эту краткую характеристику указанием на то, что Маруся так же, как и большинство женщин этого типа, предпочитала мужское общество женскому и среди первых пользовалась большим расположением, чем среди последних.

III.

Всего в нашем кружке было четыре женщины; кроме Марии Павловны Ковалевской, в него входили еще: Анна Марковна Макаревич, Вера Ивановна Засулич и Мария Александровна Каленкина; упомянутая мною выше Лидия Павловна Барышева, урожденная Воронцова, старшая сестра «Маруси», по каким-то личным соображениям не состояла в этом кружке, но фактически принимала во многом деятельное участие и была в хороших отношениях со всеми, пользуясь общим доверием и симпатией. Каж-

дая из наших женщин была в своем роде замечательна, в особенности же первые две. Но наиболее выдающейся по своим дарованиям среди всех них являлась Анна Марковна Макаревич. Вместе с изящной, бросавшейся в глаза не только привлекательной, но даже блестящей внешностью, она соединяла многочисленные и разнообразные дарования.

Блондинка, с голубыми глазами и чуть вьющимися на голове волосами, которые она заплетала в толстую длинную косу, «Аня», как все звали ее, обладала правильными чертами и белым, прозрачным цветом лица. Среднего роста, стройная, с легкой походкой, она, благодаря всегда изящному на ней костюму, нисколько не походила на «нигилистку» и выглядела немного старше своих лет. При встрече с нею на улице многие обращали на нее внимание, что, в виду ее «нелегальности» и подробно указанных в списке разыскиваемых примет ее, было не совсем удобно и безопасно для нее.

Так, однажды, вернувшись откуда-то домой, она, между прочим, сообщила нам, что встретила на улице жандармского ад'ютанта, барона Гейкинга, который, разминувшись с нею, долго смотрел ей вслед, обернувшись. На ее замечание, что он, вероятно, узнал ее, как разыскиваемую по списку скрывшихся пропагандистов, кто-то из нас, присутствовавших, заметил, что вероятнее внимание его привлекла красивая женщина, так как высокий, с большими баками барон был известен, как большой ловелас. Но каково же было наше изумление, когда в один из ближайших дней болтливый Гейкинг кому-то из пришедших к нему по делу поднадзорных сообщил про эту встречу, заявив: «Я узнал по приметам разыскиваемую Анну Макаревич, хотел было задержать ее, да потом раздумал, — Бог с нею, пусть гуляет на свободе хорошенькая женщина, пока нет прямого мне предписания арестовать ее».

Но поклонение женской красоте у этого остзейского барона было до того велико, что, как ниже увидим, он упустил случай арестовать Аню, даже когда получил прямое об этом распоряжение.

Как я уже упомянул в одной из предыдущих глав, с Анной Макаревич я познакомился у д-ра Эмме еще в предшествовавшем году. Но близко узнал я ее и подружился, встретившись с нею вновь, к немалому своему удивлению, среди самых крайних бунтарей, так как ни внешностью, ни складом своего характера она совсем к ним не подходила, что, как потом сообщу, она и сама затем признала.

Будучи единственной дочерью очень богатого симферопольского купца Розенштейна, Аня, 16 лет, окончив с медалью местную гимназию, отправилась в Швейцарию и поступила в Цюрихе в политехникум. Она явилась чуть ли не первой женщиной в России, а, может быть, и во всем цивилизованном мире, избравшей в самом

начале 70-х годов технические науки своей специальностью. В первое время Анна Розенштейн очень усердно принялась за занятия, при чем сразу проявила редкие дарования, изумительную настойчивость и огромные успехи. Не только профессора, но и студенты-швейцарцы приходили в не поддающийся описанию восторг от ответов на экзамене молоденькой, к тому же очень красивой русской студентки. Свое ею восхищение они открыто выражали, провожая ее толпами домой и распевая по ночам под окнами ее квартиры серенады. Все, в том числе профессора, предсказывали ей блестящую перспективу на ученом поприще, но вскоре она избрала себе иное.

Как известно, в то именно время началось у нас среди передовых наших женщин стремление в Цюрих для получения там высшего образования, а вместе с этим двинулись туда из разных мест и эмигранты. Пошли толки о «судьбах России», о наивернейших способах сразу превратить ее в земной рай и проч. Чуткая, отзывчивая Аня не могла, конечно, остаться безразличной к пропаганде новых для нее, великих идей о всеобщем равенстве и счастье для обездоленных. Оставив свои так блестяще начатые занятия в политехникуме, она с теми же, если не с большими еще пылом и страстью отдалась ознакомлению с социальными вопросами, — стала усердно посещать рефераты и разные собрания, набрасывалась на социалистические про-

изведения и пр., а вскоре затем вступила там же в кружок, который, как я уже сообщил в одной из предыдущих глав, по фамилии братьев Жебуневых, получил в революционной среде кличку «сен-жебунистов». В него, между прочим, входил также молодой и способный человек по фамилии Макаревич, с которым Анна Розенштейн вскоре сблизилась, а затем они и обвенчались.

«Сен-жебунисты» по своим воззрениям были мирными пропагандистами, сторонниками взглядов Петра Лавровича Лаврова. Как и преобладающее большинство тогдашней русской молодежи вообще, а цюрихчан — в частности, к этим же воззрениям примкнула юная студентка политехникума, Анна Розенштейн-Макаревич.

Еще в Цюрихе «сен-жебунисты» сформировали тайный кружок, поставивший себе целью, по возвращении на родину, посвятить все свои силы и средства делу пропаганды социализма среди крестьянского населения Малороссии.

Надо заметить, что три брата Жебуневы (Николай, Владимир и Сергей) унаследовали от своих родителей, богатых помещиков Черниговской губ., довольно большое состояние. Кроме того, в их кружок, как я уже сообщил, входил также вскоре затем ставший предателем, средней руки помещик Трудницкий, отдавший тоже свои средства на общее дело. Таким образом, кружок Жебуневых являлся одним из наиболее обеспеченных в материальном отношении.

В отличие от большинства других пропагандистов, ради лучшего сближения с народом переряжавшихся, как известно, в крестьян и занимавшихся физическим трудом, жебунисты избрали для себя менее тяжелый способ для проникновения в деревни и села: они решили отправиться в народ, главным образом, в качестве народных учителей, а также фельдшеров, писарей и т. п., даже не переходя на «нелегальное положение», т.-е. не меняя своих званий, фамилий и пр.

В нахождении вакантных мест помог им священник села Дептовки, Конотопского уезда, Черниговской губ., Василий Стефанович, отец революционера Якова Васильевича. Не будучи, конечно, сам нисколько расположенным к социалистическим стремлениям своего сына и его товарищей, к тому же совершенно не веря, чтобы путем пропаганды возможно было достигнуть каких-нибудь радикальных перемен в России, священник Стефанович, как очень умный человек, к тому же, стоявший за просвещение темных масс, признавал полезным пребывание в селах и деревнях образованных молодых людей. «На социальную революцию, — говорил он им, — вы невежественных мужиков не подвинете, а грамоте их научите».

Народных школ в то время было чрезвычайно мало; поэтому Василий Стефанович, являвшийся благочинным, прибег к рещительному приему для увеличения их числа. Будучи по натуре сторонником якобинизма и признавая мужиков грубой, полу-дикой ордой, повинующейся только решительным мерам, священник Стефанович применил следующий способ: раз'езжая по подведомственным ему, как благочинному, селам, он приказывал собирать крестьянские сходы, на которых обращался к прихожанам с требованием, чтобы они немедленно ассигновали средства для оплаты учителей, а также и материалов, необходимых для постройки школ, грозя, что в противном случае подчиненные ему священники не будут ни венчать их, ни крестить, ни хоронить и т. д.

Прием этот подействовал: школы были вскоре сооружены, а учителями стали жебунисты. Но, как мы уже знаем, вследствие доноса Трудницкого, эти, как и масса других пропагандистов, были арестованы. Жебуневым, однако, как-то удалось скрыться, после чего они эмигрировали в Западную Европу.

Работая вместе с ними, Анна Марковна Макаревич также была оговорена Трудницким, но и ей посчастливилось избежать ареста. Но она не последовала за своими уцелевшими товарищами, скрывшимися за границу, а, перешедши на «нелегальное положение», осталась в России.

Со своим мужем Анна Марковна почему-то разошлась и вскоре затем она сблизилась с Виктором Костюриным, довольно видным в Одессе революционером, о котором подробнее сообщу

ниже. К ним затем примкнул также разыскиваемый член московского кружка чайковцев, Михаил Федорович Фроленко. С этими лицами, еще недавно являвшимися ярыми лавристами и, следовательно, решительными противниками бакунизма, после испытанных ими в народе неудач, повторилось то же, что и с большинством тогдашних пропагандистов: они разочаровались в своих способностях повлиять на крестьянскую массу путем устного и печатного слова, а потому склонились к бунтарству, после чего все трое присоединились к киевскому кружку Дебагория-Мокриевича. Анна Марковна, несмотря на свои 20 лет, явилась в этом кружке, так сказать, уже с революционным стажем: за границей она познакомилась со многими виднейшими эмигрантами, что тогда являлось своего рода аттестатом; вернувшись на родину, действовала среди народа, а, главное, — фамилия ее с приметами была помещена в не раз уже упомянутом мною списке разыскиваемых Третьим Отделением революционеров по Большому процессу[1]). Список этот был разослан по всей России тайной и явной полиции, благодаря чему, конечно, попал и в наши руки, после чего он появился на столбцах лавровского «Вперед».

[1]) Вот как была там пропечатана: «Макаревич, Анна, рожденная Розенштейн, жена дворянина; лет около 20, белокурая, лицо чистое, белое; среднего роста; не дурна собой.

Благодаря блестящим своим дарованиям, а также революционному своему прошлому, Аня сразу заняла очень заметное место в киевском бунтарском кружке. Подобно Марии Павловне Ковалевской, она также отличалась ораторскими способностями, но производила впечатление более ее образованной и, в отличие от Маруси, являлась не спорщицей, а скорее агитаторшей.

В дальнейшем мне еще не раз придется касаться Ани, а потому ограничусь пока приведенными мною о ней данными и перейду к другим членам южного кружка. Раз заговорив о наших женщинах, коснусь здесь оставшихся двух — Веры Засулич и Марии Каленкиной.

IV.

Обе они резко отличались от Маруси и Ани: ни Вера Ивановна, ни Мария Александровна не бросались в глаза своими дарованиями, ничем не выделялись вперед, но, как я уже упомянул, они также являлись замечательными женщинами, в особенности первая из них.

У Веры Ивановны, которой присвоена была кличка «Марфуша», имелось более почетное революционное прошлое не только чем у выше названных двух наших женщин, но даже у кого-либо из мужчин, членов этого кружка.

Как известно, она привлекалась по нечаевскому делу и была в первый раз арестована еще в 1869 году. После этого она около двух

лет просидела в Третьем Отделении и в Петропавловской крепости; затем втечение ряда лет ее административно пересылали из одного северного захолустья в другое, при чем каждый раз заключали в тюрьмы, пока, наконец, в 1875 г. она самовольно покинула последнее место своей ссылки, г. Харьков, где, после пятилетних скитаний, ей дозволено было поселиться для поступления на местные акушерские и фельдшерские курсы. За ней, таким образом, было шести- или семилетнее революционное прошлое, чем не мог похвалиться никто другой из остальных членов кружка бунтарей, тогда еще не успевших познакомиться ни с тюрьмами, ни с ссылками.

Однако, относительно богатое тяжелыми испытаниями прошлое не наложило на Веру Ивановну печати мученичества, и выглядела она очень здоровой, хорошо сложенной, способной ко всякому физическому труду, деревенской девушкой. Манерами, — сильной жестикуляцией и громкими выкриками во время бесед, а также внешностью, на которую Марфуша, видимо, не обращала никакого внимания, она нисколько не напоминала «столбовую дворянку», каковой была по происхождению, а являлась типичной «нигилисткой» 60-х годов.

Мало привлекательного было в ней, как в женщине, и из черт ее лица только в глазах отражался большой природный ум. Вместе с тем чуть не из первых бесед с нею для каждого

вполне обнаруживалось, что она какая-то своеобразная, необычайная, недюжинная девушка. Во всем ее поведении, в обращении с другими, особенно в речах ее бросались в глаза необычайная искренность и простота. Ей не только совершенно не присуще было стремление выдвинуться, обратить на себя внимание, но, наоборот, она как бы старалась стушеваться, остаться незамеченной, хотя по своему уму и развитию, в особенности по начитанности, Вера Ивановна стояла выше всех остальных членов этого кружка. Марфуше совершенно чужды были чувства самолюбия и честолюбия. Забегая много вперед, скажу здесь, что с летами и ростом ее всемирной известности, эти черты ее характера не умалялись, а, наоборот, скорее усиливались: непритязательной, чрезмерно конфузившейся и крайне застенчивой Вера Засулич, как известно, осталась до самой смерти.

Будучи в бунтарском кружке, как и в других потом, Марфуша брала на себя только самые простые функции и обязанности, — квартирной хозяйки, стряпки и т. п. При этом все, за что она принималась, исполняла наиболее усердно, добросовестно, к тому же просто, без малейшей суетни, раздражения или придирчивости к окружающим, что так часто происходило даже у революционных «хозяек» конспиративных квартир.

Уже до знакомства со мною, Марфуша летом 1875 г. побывала, вместе с Яковом Стефановичем

и Иваном Бохановским в «народе» и, как мне потом они передавали, она прекрасно исполняла роль деревенской «бабы», считаясь женой одного из этих ее спутников, — не помню в точности, кого именно из них, кажется, первого.

Типичная великоросска, с певучим московским акцентом, впервые попавшая тогда на Украину, Марфуша, конечно, плохо понимала местный язык, из-за чего у нее нередко выходили недоразумения с сосядками-хохлушами, подымавшими добродушно на смех симпатичную им «кацапку».

Еще одной чертой Вера Ивановна уже тогда отличалась не только от своих товарок по кружку, но и от мужской его части: лишь только представлялась ей малейшая возможность, — в городской ли общей квартире, где вечно толкалась масса всякого народа, или в крестьянской избе, когда роль «хозяйки» отнимала много времени, — Марфуша углублялась в книгу. При этом она с одинаковым увлечением поглощала как серьезные произведения, так журнальные статьи или иностранные романы, — все решительно интересовало эту на редкость любознательную и довольно уже тогда разностороннюю социалистку.

Но читатель, мало знакомый с той замечательной эпохой, едва ли в состоянии вполне оценить только-что приведенную мною черту характера Веры Ивановны, — ее любознательность. Я должен, поэтому, напомнить, — о чем мне уже приходилось сообщать в печати, — что в середине 70-х годов чтение книг вообще, в особенности же легальных, не только не было в обычае, но прямо и резко порицалось настоящими, последовательными бакунистами, к числу которых, как я уже упомянул, в киевском бунтарском кружке принадлежал задававший тон всему «лидер» Мишка. Он даже утверждал, что «было бы недурно забыть и то, чему раньше выучились, так как интеллигентность только мешает омужиченью и полному слиянию с народной массой» [1]). Помню, как однажды, заметив, что я читаю какую-то статью Михайловского, «Мишка» обратился с громким смехом к присутствовавшим товарищам: «Смотрите, он набирается ума у Михайловского!». Его смех был поддержан другими.

Нужно было, поэтому, обладать особенной, чуть ли не сверхестественной любознательностью, чтобы, при таком отношении товарищей к чтению, предаваться этому «вредному» для настоящего бунтаря занятию. Сугубо ценна, в виду сказанного, была эта страсть к чтению у скромной, застенчивой Марфуши, относившейся с большой симпатией и уважением ко всем, вообще, товарищам, а к «Мишке» — в особенности.

---

[1]) Приведя эту фразу в своих «Воспоминаниях» (см. стр. 115), Дебагорий-Мокриевич приписывает ее «некоторым, договорившимся до этого»; между тем, все мы отлично помним, что именно он вел тогда самую усиленную агитацию за невежество.

Решительно со всеми членами этого кружка Вера Ивановна была в наилучших, приятельских отношениях, но особенно сблизилась она с Марией Коленкиной, Яковом Стефановичем, а затем со мною, о чем подробнее скажу в своем месте.

В каждом из товарищей Марфуша находила хорошие, положительные стороны и совершенно не замечала у них отрицательных черт. В ту пору, — а в значительной степени и в течении всей дальнейшей жизни, — Вера Ивановна вообще склонна была несколько идеализировать симпатичных ей людей, в особенности в начале знакомства с ними.

Нахожу необходимым несколько остановиться здесь на удивительно меткой и верной характеристике, данной известным Степняком (С. М. Кравчинским) Вере Ивановне в его «Профилях»[1]). В ней нет ни одной неверной или сколько-нибудь преувеличенной черты: такою именно была Вера Ивановна после покушения ее на ген. Трепова. Но не совсем такой являлась она за три года до того, когда мы впервые встретились с нею осенью 1875 г., в Киеве. Когда она состояла в бунтарском кружке, ей совершенно не свойственна была, как сообщает Степняк, «русская болезнь, состоящая в терзании собственной души, в погружении в ее сокровенные глубины, в безжалостном анатомировании ее, в выискивании пятнышек и недостатков, часто воображаемых и всегда преувеличенных» (там же, стр. 67). Зная очень близко Веру Ивановну, я положительно утверждаю, что тогда, в средине 70-х годов, у нее эти черты характера совершенно отсутствовали или, быть может, были зарыты глубоко-глубоко в душе, так что не только нам, немногим друзьям ее, они не были заметны, но возможно, что и сама она отрицала бы их у нее существование, если бы другой утверждал что-либо подобное.

[1]) См. «Подпольная Россия», изд. «Фонда вольной русской прессы», стр. 65—71.

Тогда Вера Ивановна решительно не страдала «припадками черной хандры», которые, — по словам Степняка, — «овладевали ею время от времени, как царем Саулом и держали ее в своей власти дни за днями» и т. д. (там же).

Во время пребывания членом южного бунтарского кружка, да и в два-три последовавшие за тем года Марфуша, повторяю, была вполне жизнерадостной, всегда бодрой, веселой девушкой, никогда не впадавшей не только в «черную хандру», но даже просто не испытывавшей дурного настроения. Правда, и тогда она являлась чрезвычайно оригинальной девушкой, начиная от походки, костюма, внешности и кончая манерами, способом выражения своих мыслей, всегда новых, остроумных и оригинальных.

Но я должен также сообщить здесь, что в описываемое мною время Марфуша, в отличие от Маруси и Ани, не проявляла при обсужде-

ниях в кружке общих дел никакой личной инициативы, хотя она всегда внимательно прислушивалась к речам остальных товарищей. В этих случаях она нисколько не проявляла также ни «редкую силу мысли», ни «самостоятельности», ни «неспособности итти по проторенным дорожкам», о чем сообщает Степняк, и что в описываемое им время Вера Ивановна, действительно, всегда почти проявляла. Тогда она еще не «проверяла и не подвергала критике все», а многое принимала на веру, без всяких споров, о которых говорит Степняк. Марфуша охотно соглашалась с решениями, а также с планами деятельности, предлагаемыми другими товарищами, что об'яснялось, главным образом, свойствами ее характера, — скромностью, склонностью преувеличивать способности других и, наоборот, умалять присущие ей самой. Готовность следовать в практических делах за указаниями близких, симпатичных ей людей, как ниже увидим, осталась у Веры Ивановны и в дальнейшей ее деятельности.

В заключение этой краткой характеристики Марфуши до ее покушения на ген. Трепова, что, несомненно, имело громадное влияние на ее характер а также и жизнь ее, замечу, что, за исключением нас троих — Коленкиной, Стефановича и меня, — едва ли кто-либо еще из остальных членов киевского бунтарского кружка мог в описываемое мною здесь время допустить, что скромная, непритязательная Марфуша скрывает в себе способность к беспредельному самопожертвованию, к полному равнодушию не только к своему здоровью, но и к своей жизни, к редкому героизму.

V.

Единственным среди наших женщин и вместе наилучшим другом Веры Ивановны была, как я уже упомянул, Мария Александровна Коленкина, которую все мы называли просто «Машей». Очень мало общего было у этих закадычных подруг.

Стройная, тонкая блондинка, с золотистого цвета волосами, с прозрачной кожей, очень большим белым лбом и выразительными глазами, окаймленными длинными ресницами, Маша была вообще не дурна собой. Внешностью, манерами, походкой она производила впечатление вполне благовоспитанной девицы привилегированного сословия. В действительности же она была мещанкой какого-то небольшого городка на юге, ни в каком учебном заведении не училась она, да и сама не очень пополнила тогда свое образование. Как сообщила мне Вера Ивановна, главным источником всех познаний Маши были стихотворения Некрасова, каким-то образом рано ей попавшиеся в руки, — кем-то ей был подарен том их. Из него она почерпнула не только большинство своих сведений о жизни во вселенной вообще и в России — в частности,

но Некрасов же научил ее полюбить обездоленных и посвятить себя делу их освобождения. За это как же любила она его и как хорошо знала все его стихотворения!

Однако, эти знания далеко не удовлетворяли ее; более того, — ее крайне угнетало и огорчало, когда кто-нибудь даже из друзей касался щекотливого, больного для нее пункта, что все свои знания она почерпнула из Некрасова [1]).

Не только по внешности, манерам и своему образованию, но и по характеру Маша в сильной степени отличалась от своего друга Марфуши. Между тем, как Вера Ивановна была всегда чрезвычайно общительна с близкими и в веселом, бодром настроении, Маша, наоборот, была крайне молчалива, сосредоточена в себе, грустна и производила такое впечатление, словно ее угнетает, мучает какое-то большое горе, несчастье. В течение многих не только дней, но недель и месяцев от Маши можно было только услышать лаконичные ответы «да» или «нет»; сама же она в крайне редких, только в исключительных случаях обращалась даже к симпатичным ей товарищам с каким-либо словом. С крепко стиснутыми губами, выводя карандашом, булавкой или чем-либо аналогичным на бумаге, а то на столе или на стекле какие-нибудь фигурки, значки и пр., Маша казалась совершенно индиферентной ко всему кругом нее происходившему.

[1]) **Забежав много вперед, скажу здесь что впоследствии Коленкина, находясь в тюрьмах и на каторге, самостоятельно приобрела значительные знания и, очутившись, по выходе из Кары, в Иркутске, занялась с большим успехом обучением детей. Кажется она и до сих пор продолжает тем же заниматься там.**

За все время моего с нею знакомства я не могу припомнить ни одного случая какого-либо активного ее участия в общих беседах, хотя бывали и чрезвычайно важные заседания, от того или другого решения которых зависела свобода, а то и жизнь многих из нас.

Но, думая вечно свою грустную думу, эта очень умная от природы девушка замечала все кругом нее происходившее и составляла свое самостоятельное мнение, которым делилась только с подругой своей Марфушей. Лишь с нею одною, — по крайней мере во время пребывания в нашем кружке, — Коленкина была разговорчива, что можно было заметить по их частым шушуканиям где-нибудь в стороне.

Как неизмеримо более образованная и развитая, Марфуша несомненно имела большое, к тому же, благотворное влияние на свою подругу. Хотя они были ровесницами, — 25—26 лет, — тем не менее, Вера Ивановна относилась к Коленкиной, как старшая, нежно любящая свою меньшую сестренку: заботилась о ней, как о слабосильной, болезненной, хотя в то время Маша никаким физическим недугом не страдала и, несмотря на хрупкую свою фигуру, была довольно вынослива ко всякому труду.

По внешнему уже виду Коленкиной можно было заключить, что она обладает большим умом и сильным самостоятельным характером. При более же близком с нею знакомстве обнаруживалось, что она, к тому же, очень самолюбива, мнительна и обидчива, — эти черты совершенно не были свойственны Марфуше.

На естественный вопрос, что сблизило этих двух, повидимому, столь различных девушек, отвечу: главным образом, отзывчивость и способность к безграничному соболезнованию, — черты, которые в сильной степени были всегда присущи Вере Ивановне. Чрезвычайно наблюдательная, она не могла вскоре не заметить, что Коленкина чем-то обижена, недовольна, что ее, как я упомянул, словно сосет большое горе, которое она могла бы открыть только очень большому другу и тем облегчила бы свое душевное состояние.

Добрая, способная к соболезнованию, к тому же ужасно простая на вид Марфуша, очень скоро разгадав болезненно самолюбивую натуру Коленкиной, сумела подойти к ней, заставить ее заговорить, излиться, чему Маша очень обрадовалась, так как ее наверно крайне тяготило ее душевное одиночество.

Вот, по-моему, главная причина сближения этих казавшихся столь различными натур. В действительности же, при внешней их противоположности, в их характерах были и общие обеим свойства, при этом столь существенные,

важные, что они превалировали над всеми остальными в то, по крайней мере, время.

Как и Вера Ивановна, Коленкина так же являлась очень сложной натурой, обладавшей богатым внутренним миром: скромная, как и ее подруга, она всегда желала оставаться никем не замеченной, в тени; но, главное, Маша тоже способна была на беспредельное самопожертвование, на героизм, что она впоследствии и проявила. Более того: если память мне не изменяет, инициатива пожертвовать собой для восстановления поруганной чести товарищей принадлежала Коленкиной. Но об этом подробно сообщу в своем месте.

За Машей также имелось уже революционное прошлое: она входила в знаменитую «Киевскую Коммуну», столь оклеветанную прокурором Желиховским по Большому процессу и подробно описанную Дебагорием-Мокриевичем в его «Воспоминаниях». Весной 1874 г. Маша, вместе с Екатериной Константиновной Брешковской и Яковом Стефановичем, ходила, в качестве крестьянки, в народ, и только случайно спаслась от ареста. Попав в список разыскиваемых полицией, она перешла на нелегальное положение.

В упомянутых записках Мокриевич сообщает, какую осторожность и вместе настойчивость проявила Коленкина в дни разразившегося осенью 1874 г. на юге погрома. Описанное им свидание с нею до того характерно, что я считаю нужным привести его здесь целиком.

«Я зашел к Коленкиной, занимавшей номер в гостинице, — рассказывает он. — Помню, когда я вошел к ней в комнату, она сильно встревожилась моим приходом и стала настаивать на том, чтобы я немедленно уходил из гостиницы.

— Уходите пожалуйста отсюда, — говорила она. — В соседнем номере живут шпионы. Сегодня ночью я слыхала разговор за этой стенкой...

То была деревянная тонкая перегородка... Сквозь нее легко можно было слышать, что говорится в соседней комнате.

— Хорошо, я уйду, но мне хотелось бы условиться относительно встречи, — проговорил я тихо, чтобы не слышно было в соседнем номере.

— Уходите! И слышать не хочу: вас здесь арестуют...

— В таком случае и вас арестуют!

— Лучше одному погибнуть, чем двоим: уходите!

— Дайте мне кончить: условлюсь...

— И слушать не хочу! — перебила она и затем, чтобы на самом деле не слышать меня, она закрыла себе уши пальцами и заговорила: «Уходите, уходите, уходите, уходите!», повторяя это слово раз десять»[1]).

Такую же непоколебимую настойчивость Коленкина проявляла всегда и во всем. Черта эта

[1]) «Воспоминания». стр. 163.

временами доходила у нее до неимоверного упрямства, что в особенности у нее проявлялось, когда дело касалось интересов товарищей.

Словом, Маша, как и Марфуша, была на редкость альтруистической, кристально чистой, тонкой, изящной натурой и, в противоположность ее закадычному другу, в ней не было ничего «нигилистячаго».

Хотя, как я сообщил, Маша всегда хранила гробовое молчание, все же члены бунтарского кружка чутьем угадывали, что это недюжинная революционерка, и относились к ней с заметным вниманием и с большой симпатией. То же отношение к себе вызывала она, когда впоследствии переселилась в Петербург, но со стороны некоторых своих товарок на каторге она, как мне передавали, уже не пользовалась такой симпатией, так как там, вследствие болезни легких, характер ее будто бы резко изменился. Не знаю, насколько это верно.

VI.

Мужской контингент южного бунтарского кружка значительно превосходил количеством, но не качеством, перечисленных выше женщин. Нужно констатировать даже обратное: между тем как последние все на подбор являлись особенно выдающимися, что они и доказали в дальнейшей своей деятельности, сыграв очень видную роль в нашем революционном движении, —

из четырнадцати мужчин только немногие чем-нибудь проявили себя впоследствии, и лишь двух-трех мужчин этого кружка можно отнести к недюжинным, исключительным революционерам той эпохи. Среди них наиболее видное место бесспорно занимал Як. Вас. Стефанович, о котором Степняк в «Подпольной России» совершенно правильно говорит, что одно время он был едва ли не самым популярным человеком в партии» [1]).

В описываемое мною время имелось несколько особенно выдающихся участников революционного движения, фамилии которых, по тем или другим причинам, произносились одновременно, по-парно. Так, называя Рогачова, непременно прибавляли Кравчинского (или обратно) [2]), Ковалика соединяли с Войнаральским, а Стефановича называли вместе с Мокриевичем.

Однако, из таких соединений не следует заключить, что эти пары являлись своего рода Аяксами, закадычными, неразлучными друзьями. В особенности этого нельзя было сказать о последней из перечисленных мною пар, — о Мокриевиче и Стефановиче.

Еще менее общего, чем между Верой Засулич и Марией Коленкиной, было у Стефановича с Мокриевичем: ни по складу их умов, ни характерами они нисколько не походили друг на

---

[1]) Там же, стр. 30.

[2]) После ареста первого, летом 1876 г., говорили: «Кравчинский и Клеменц» и обратно.

друга, к тому же было также и значительное различие в их летах, что особенно ощущается в том возрасте, в котором они находились. По указанным и по другим причинам, о которых подробно сообщу ниже, между этими наиболее тогда видными бакунистами не только на юге, но и вообще в России, не было тесных, дружеских отношений, — связывало их тогда, главным образом, общее дело, единство стремлений и цели.

Хотя Мишка являлся «генералом» в нашем кружке, но мы ниже увидим, что во многом он уступал «Дмитру», как назывался Стефанович в революционном мире. В нашем кружке, да и повсюду вообще в то вермя, Стефанович пользовался нисколько не меньшим авторитетом и престижем, чем Мокриевич. Среди же большинства членов нашего кружка, Дмитро вызывал к себе куда больше симпатий, расположения и уважения, чем Мишка Мокриевич, обращавший на себя общее внимание благодаря как своей красивой внешности, так и разговорчивости; Дмитро же, отличавшийся чрезвычайной молчаливостью, скромностью и застенчивостью, являлся зачительно более инициативным, предприимчивым, деловитым. Фактически главные связи и сношения с крестьянами, на которых основывались задачи и планы этого кружка, как ниже увидим, находились исключительно в руках Стефановича. Вот почему, несмотря на юный свой возраст, — ему тогда бы-

ло 21—22 года, — Дмитро явился вскоре действительным руководителем самого выдающегося в средине 70-х годов бакунинского кружка в России.

Как я уже сообщил, Стефанович был сыном сельского священника Черниговской губ. Будучи в последних классах гимназии, он, — как и большинство тогдашних революционеров, — начал свою общественную деятельность на мирном, культурном поприще, участвуя в одном из распространенных в Малороссии украинофильских кружков, задававшихся безобидной целью способствовать развитию своего родного языка, литературы и т. п. Но царское правительство «роформатора» Александра II считало крайне вредным такое стремление украинцев и всячески его преследовало. Убедившись на личном опыте в невозможности самой скромной просветительной работы для родного края, Стефанович, подобно другим представителям лучшей части нашей учащейся молодежи, стал, под влиянием нашей передовой литературы, склоняться к социализму.

Блестяще окончив гимназию и поступив, как мы уже знаем, в 1872 г. на медицинский факультет, Стефанович самым усердным образом принялся за изучение анатомии. Но весной следующего года началось знаменитое движение нашей революционной молодежи «в народ». С твердостью, настойчивостью и энергией, которые с юных лет были в сильной степени присущи

Стефановичу, он также, не останавливаясь ни перед чем, устремился в водоворот, который поглотил не одну тысячу самых даровитых юношей, девушек и женщин нашей страны.

Но оставив навсегда университет и связанное с медицинской карьерой привилегированное положение, Стефанович в течение некоторого, — правда, очень короткого, — времени являлся мирным социалистом, сторонником устной и печатной пропаганды, как это проповедывал П. Л. Лавров. Присоединившись сперва к кружку «сенжебунистов», он и сам собирался действовать среди народа, в качестве народного учителя. Затем он примкнул к местному отделению известного кружка чайковцев, имевшему филиальные разветвления в некоторых университетских городах, — в Москве, Киеве, Одессе. Собираясь в народ, Стефанович, подобно другим тогдашним социалистам, на всякий случай тоже стал обучаться сапожному ремеслу. Но насколько великими оказались его успехи на этом поприще, может показать следующее.

Когда, изготовив, после долгих усилий, первую пару сапог, Стефанович принес ее на рынок, то какой-то покупатель, взглянув на нее, воскликнул: «Лучше бы ты принес одну кожу, тогда взял бы ее, а сапоги твои никуда не годятся».

Не долго, однако, оставался Стефанович среди мирно настроенных социалистов. Уже осенью 1873 г. он вошел в состав известной «Киевской

Коммуны», где он особенно сблизился с Брешковской и с Коленкиной, с которыми, как я уже упомянул, летом следующего года ходил в народ. Но еще раньше этого путешествия, он, вместе с Дебагорием-Мокриевичем и другими тремя товарищами, исколесил некоторые малороссийские губернии, в качестве чернорабочего или красильщика материй, о чем подробно рассказывает Мокриевич в своих «Воспоминаниях» (стр. 132—33).

Из рассказов Стефановича о его странствованиях совместно с одной лишь Брешковской в моей памяти запечатлелся следующий интересный эпизод, едва не кончившийся для них печально.

В каком-то селе они попали в среду штундистов, в ту пору только что начавших распространяться в Херсонской и Киевской губерниях под влиянием проповеди очень смышленного крестьянина по фамилии Рябошапка. Брешковская и Стефанович чрезвычайно обрадовались, когда они наткнулись на тогда новую для них рационалистическую секту. Завязались у них разговоры и споры о преимуществах учения новой секты перед православием. Пользуясь этими беседами, наши странствовавшие из села в село революционеры начали, ссылками на священные книги, не без успеха склонять штундистов на свою сторону. Последние стали затем упрашивать Стефановича остаться у них до приезда их проповедника Рябошапки, чтобы из состязания с ним они могли убедиться, на чьей стороне правда. Хотя Стефанович очень опасался за последствия этой дискуссии, но он должен был на нее согласиться.

Действительно, вскоре приехал туда Рябошапка, которого, быть может, его последователи специально выписали. Узнав о происходивших в его отсутствии диспутах с пришлыми агитаторами, этот проповедник пожелал устроить с ними состязание при всех своих там последователях. Смышленный, очень хитрый малороссиянин, быстро сообразив, с кем он имеет дело, предложил тогда безусому агитатору изложить, в чем состояла «его вера». Приняв этот вызов, Стефанович повторил то, что он уже излагал раньше частным обрзом многим из собравшихся на дискуссию.

— Э, та ось воно що! Ось вы який! — воскликнул Рябошапка. — Затем он заявил Стефановичу, что, собственно, должен был бы, «скрутив ему назад руки, доставить его в волость», но не делает этого отчасти в виду его молодости, а также своих религиозных взглядов. В заключение этот пройдоха-проповедник самым настоятельным образом посоветовал нашим агитаторам поскорее убраться по-добру, по-здорову [1]).

---

[1]) Впоследствии Стефанович, описав этот эпизод, насколько было возможно по цензурным условиям, отправил статью в «Отечественные Записки»; вскоре получилось от Михайловского письмо с чрезвычайно лестным

Но не только в этот раз Стефанович был на волосок от ареста, — совершенная случайность также спасла его, когда задержана была его попутчица и лучший друг Е. К. Брешковская.

О дальнейших перипетиях Стефановича я уже вскользь упомянул выше. Ограничусь пока сообщенным мною о нем и перейду к остальным мужчинам, членам названного кружка.

VII.

Одним из самых видных представителей не только кружка, но и вообще революционного движения той эпохи являлся Михаил Федорович Фроленко. В «Галлерее Шлиссельбургских узников» Вера Николаевна Фигнер дала о нем некоторые биографические сведения; но в виду незначительного распространения этого, к слову, чрезвычайно интересного сборника, ставшего теперь библиографической редкостью, я приведу здесь наиболее крупные факты из жизни Фроленко.

Он не принадлежал, — как большинство тогдашних революционеров, — к привилегированному сословию. Отец его, бывший фельдфебель, служил смотрителем каменно-угольных копей в

о ней отзывом и с обещанием,— с некоторыми пропусками поместить ее. Но все по тем же цензурным причинам она не появилась в печати, и рукопись так и застряла в редакции вскоре затем закрытого журнала. Было-бы очень ценно, если-бы она нашлась.

Кубанской области. Он рано умер, оставив жену с дочерью и малолетним мальчиком, родившимся в Ставрополе, в 1848 г., совершенно без всяких средств. Много горя и лишений испытала эта семья. Но мать Фроленки была выдающейся женщиной, имевшей на него огромное влияние. Выбиваясь из сил на тяжелой поденной работе, она тем не мечее старалась дать мальчику образование. Случайное обстоятельство содействовало его поступлению в уездное училище, в котором он прекрасно занимался и окончил первым. Добрые люди помогли ему затем попасть в ставропольскую гимназию, по окончании которой он добрался в Петербург, где поступил в Технологический институт. Но, спустя год, Фроленко перекочевал в Москву, чтобы, окончив там Петровско-Разумовскую академию, помогать крестьянам своими агрономическими познаниями. Этой мирной задаче, однако, не суждено было осуществиться: начавшийся революционный под'ем, о котором я уже много раз упоминал, увлек и Фроленко, восприимчивого к страданиям ближнего, почерпнутым не из книг, а из личного горького опыта. Покинув земледельческую академию, Михаил Федорович примкнул к кружку московских чайковцев.

Начал он, как и все тогда, с культурно-просветительной деятельности, — с обучения кружка рабочих грамоте. Затем, с наступлением весны 1874 г., вместе с товарищем Аносовым, он отправился «в народ».

Подобно некоторым членам кружка Фесенко в Киеве, о чем я сообщил во второй главе, они выбрали секту «бегунов», как наиболее протестующую против существующего строя. Но их поиски этих народных «бунтарей» на Урале оказались столь же тщетными, как и вышеупомянутые мною, предпринятые в низовьях Волги моими товарищами в Киеве.

Будучи скомпрометирован в глазах жандармов, вследствие начавшегося тогда повсюду погрома, Фроленко осенью 1874 г. перешел на нелегальное положение, в котором, — замечу к слову, — он остался до марта 1881 г., т. е. почти целых семь лет, следовательно, дольше, чем кто-либо другой из русских революционеров. В отличие от многих «нелегальных» он не отправлялся, даже на время, за границу, чтобы замести следы, а ограничивался только перенесением своей деятельности с севера на юг и обратно.

Попав в Одессу, Фроленко, как я уже выше упомянул, сошелся с Анной Макаревич, Виктором Костюриным, Иваном Дробязгиным, с тамошними «чайковцами», и, вообще, с недавними «лавристами», разочаровавшимися в успешности пропаганды и примкнувшими к бакунистам.

В киевском бунтарском кружке «Михайло», как мы звали его, благодаря своему характеру, а также тому, что он являлся одним из наиболее опытных, бывалых деятелей, занял довольно видное положение.

Он также не бросался в глаза, также редко можно было услышать его голос, но когда он делал какое-либо замечание, сообщение и пр., это всегда выходило у него просто, лаконично, кстати. Не могу припомнить, чтобы он когда-либо принимал участие в теоретических беседах, — кажется, уже тогда они совершенно его не интересовали: как и Стефанович, он являлся практиком, человеком, всегда чем-нибудь занятым, исполняющим какую-либо нужную функцию или миссию. Но, в отличие от Дмитра, Михайло редко вносил в общее дело что-либо свое, проявлял какую-нибудь самостоятельность, а тем более инициативу. Он был незаменим, как исполнитель, но, — по крайней мере тогда, — он не проявлял творческих дарований, чему иллюстрации приведу ниже.

Своею внешностью Михайло также нисколько не выделялся. Он принадлежал к более пожилым членам южного кружка, — ему было лет 25—26. Среднего роста, худощавый, с темно-русыми волосами на голове и жидкой рыжеватой бородкой, Михайло мало напоминал интеллигента, а скорее походил на мастерового или военного писаря. Среди товарищей он пользовался уважением, — его считали серьезным, дельным и аккуратным работником, на которого можно положиться, что он наилучшим образом исполнит то, за что взялся.

Наиболее близок был Михайло с Аней и «Алешкой», как все звали Виктора Костюрина,

хотя общего с ним у него решительно ничего не было, если, конечно, не считать одинаковых взглядов и бесграничной преданности революционной борьбе. Никто не сомневался, что Михайло, в случае необходимости, пойдет на самое отчаянное, самое смелое предприятие, что, как известно, он впоследствии неоднократно доказал. Мне еще не раз придется в дальнейшем сообщать о Фроленко.

VIII.

Из наиболее «солидных» по возрасту, кроме Мишки и Михайло, был Сергей Чубаров, он же «Зеленый», «Капитан» и «Американец». Почему ему присвоены были первые две клички, я теперь не помню; последнюю же он получил, благодаря своему долгому пребыванию в Сев.-Америк. Соед. Штатах. Ему также было тогда лет 25—26, а «революционное прошлое» он имел большее, чем кто-либо другой из мужчин этого кружка, так как, вместе с Верой Ивановной Засулич, Чубаров привлекался по нечаевскому процессу.

Будучи студентом Петровско-Разумовской академии в 1869 г., Чубаров имел очень отдаленное отношение к заговору Нечаева, все же полиция его усиленно разыскивала, почему он счел за лучшее скрыться, после чего эмигрировал в Америку. Там он почему-то очутился, в качестве рабочего, во Флориде, где прожил несколько лет и, вернувшись незадолго до моей встречи с ним, попал в этот кружок.

Хотя он часто начинал свои рассказы с фразы: «когда я жил во Флориде», но я решительно не могу припомнить никакого сколько-нибудь интересного сообщения его о его жизни в Новом Свете. За то «Зеленый» был неистощим, как рассказчик всевозможных анекдотов, преимущественно нецензурного характера.

Веселый, добрый товарищ, всех забавлявший, «Зеленый» никем, кажется, не считался сколько-нибудь выдающимся деятелем. Неглупый от природы человек, он, несомненно, был целиком предан интересам трудящихся масс, что впоследствии он и доказал своей геройской гибелью на виселице. Но в описываемое мною время, насколько теперь могу припомнить, он решительно не проявлял никаких талантов, никакой серьезной практической работы он не исполнял, ограничиваясь только ролью «кассира», которой, однако, никто ему не поручал.

Дело в том, что после смерти отца, помещика средней руки Пензенской губ., Чубаров с братом оказался наследником довольно значительного количества земли. В виду нелегального своего положения он предоставил брату право пользоваться его долей, получая за это от него соответствующую плату. Часть, — быть может, наибольшую, — этих сумм Зеленый употреблял на дела нашего кружка, что, кажется, являлось главным источником наших материальных

средств. При этом замечу, что он не был особенно щедр. Впрочем, подробнее об этой его черте, приведшей к довольно неприятному финалу, я сообщу в своем месте.

Внешностью и манерами Зеленый также не импонировал, и в кружке он не принадлежал к видным членам. Кажется, не будет ошибкой, если скажу, что к нему тогда не относились серьезно, — скорее безразлично, хотя и считали его отважным, смелым человеком, готовым на самопожертвование.

Еще менее заметной, если это возможно, была роль тоже «солидного» члена, — Ивана Бохановского, уже окончившего киевский университет, когда началось хождение в народ. Бросив во время окончательных экзаменов юридический факультет, «Иван», — он же «Казак», как его звали, — последовал за другими; скомпрометировавшись вскоре в качестве пропагандиста, он также стал бакунистом, затем перешел на нелегальное положение и примкнул к кружку Мокриевича.

Много общего в его характере было тогда с Михайлой: та же серьезность, деловитость, аккуратность в выполнении взятых на себя обязанностей и то же отсутствие собственной инициативы. Но, в отличие от Фроленко, Бохановский обладал значительной дозой хохлацкой флегматичности.

Из мужчин Иван-Казак был наиболее молчаливым и незаметным в нашем кружке. В этом

отношении он даже превосходил Машу Коленкину: от него и лаконического ответа не сразу можно было добиться. Он, конечно, также не принимал никакого активного участия в общих обсуждениях и тоже безусловно соглашался с решениями, принятыми остальными товарищами. Но, между тем, как у Маши сразу бросались в глаза присущие ей выдающиеся качества, — большой природный ум, огромная настойчивость и пр., — с Иваном нужно было очень долго прожить вместе при особенно благоприятствующих знакомству и сближению обстоятельствах, чтобы заметить, что и этот необычайно замкнутый человек не лишен многих крупных достоинств. Только Стефановичу и мне, затеявшим впоследствии, сообща с Бохановским, «Тайное общество» среди крестьян, о чем сообщу ниже, удалось близко узнать и оценить этого нашего товарища. Но я уверен, что во время его пребывания в кружке Мокриевича для большинства членов он остался совершенно неизвестным, неразгаданным человеком.

Совсем в другом роде был другой «хохол», также называвшийся Иваном, — Дребязгин, о котором не мало сообщает Дебагорий-Мокриевич в своих воспоминаниях, как о спутнике в его розысках связей среди крестьян для поднятия их на восстание.

Уроженец Новороссийского края, кажется, студент одесского университета, Дребязгин тоже был из числа тех пропагандистов, которые вы-

бирали сектантов, как людей, наиболее восприимчивых к проповеди социализма. Поэтому, до вступления в кружок южных бунтарей, Дребязгин, вместе с прославившимся вскоре затем Иваном Ковальским, отправился к штундистам. Среди них он, вероятно, имел такой же успех, как и все мы, избравшие эту среду ареной своей деятельности, — в точности не могу теперь припомнить собственных его об этом сообщений. Но уже один тот факт, что в голове моей на этот счет не удержалось ничего определенного, может служить плохим признаком.

Дребязгин был одним из наиболее разговорчивых в нашем кружке. При этом он отличался значительным остроумием, — он был полон хохлацкого юмора. Его остроты, каламбуры и анекдоты привлекали в нему общее внимание, но особенно, помню, восхищалась его разговорами Вера Ивановна, которая готова была слушать его без конца. Она не скрывала своего к нему расположения, почему, — к слову, — некоторые подшучивали над нею, высказывая предположение, что она к нему неравнодушна.

Ниже среднего роста, с белокурой жидкой бородкой и неправильными чертами лица, Дребязгин имел невзрачный вид. Но достаточно было провести с ним короткое время, чтобы заметить, что он обладает своеобразным умом и независимым характером. Он обнаруживал также недурное знание крестьянской среды, а, главное, по-

видимому, умел действовать в этой среде, причем не лишен был инициативности.

Дребязгин был еще очень молод, лет 22—23, и, быть может, со временем из него вышел бы очень крупный революционер. Но, год спустя, он был арестован, а затем без всякой вины с его стороны, — только вследствие возмутительной жестокости местного сатрапа, — он так же, как и Чубаров, был повешен в Одессе.

IX.

К немногочисленным в этом кружке видным мужчинам отчасти принадлежал и не раз уже упомянутый мною Виктор Костюрин, хотя по возрасту он примыкал к молодой части наших бунтарей, — при моем с ним знакомстве ему было 21—22 года, — но, благодаря довольно значительной белокурой бородке, он выглядел на пару лет старше.

Сын мелкого помещика Бессарабской губ., «Алешка», как мы его звали, тоже рано примкнул к революционному движению. Покинув университет и вступив в местный кружок чайковцев, он скоро скомпрометировался и стал «нелегальным», а затем, как я уже сообщил, вместе с Фроленко и Анной Макаревич вошел в киевский бунтарский кружок.

Как и большинство бывших чайковцев, Алешка не чужд был некоторого теоретического развития, а также интереса к чтению. Но, в ви-

ду сангвиничного своего темперамента, он в чрезвычайно сильной степени увлекался новым кругом охвативших его идей и планов, а потому, будучи в бунтарском кружке, никогда не заглядывал в книгу, по крайней мере при мне. Вместо этого «никчемного» и даже «вредного», как мы уже знаем, по мнению лидера Мишки, занятия, Алешка, наравне с лучшим другом его, точнее — с женой, Аней, всегда носился по разным делам, перелетая из Киева в Одессу, Кишинев, Харьков, являясь метеором на самое короткое время, завязывая новые связи и всюду внося оживление и инициативу.

Веселый, жизнерадостный, с открытым, умным выражением лица, Алешка был очень не дурен собой и пользовался значительным успехом среди женщин. Он несомненно принадлежал к одаренным от природы натурам, но неблагоприятно сложившиеся для него обстоятельства, что, как известно, было участью преобладающего большинства выдающихся русских передовых деятелей, помешали ему занять соответствовавшее его способностям положение среди наших революционных деятелей. В своем месте я сообщу о дальнейшей его участи, закончившейся каторгой и бесконечным пребыванием в гиблых сибирских тундрах.

Еще печальнее, еще ужаснее была судьба другого видного юноши — Виктора Малинки, которого мы называли «Хомой»: он, как известно, вместе с Дребязгиным (а также с Л. Майданским, не входившим в наш кружок) погиб на виселице.

Сын очень богатого помещика Полтавской губ., Малинка, оставив университет, примкнул к революционному движению. Суровый, деспотического нрава отец лишил его за это всякой материальной поддержки, что, однако, нисколько не огорчило его. Хома, повидимому, унаследовал от отца сильный, непреклонный характер.

С некрасивыми чертами и суровым взглядом из-за черных густых бровей, к тому же молчаливый, Малинка производил не особенно благоприятное впечатление: он казался нелюдимым, неприветливым, черствым человеком, чего вовсе не было в действительности. Суровым, беспощадным Хома был только по отношению всех представителей господствовавшего строя. К ним он питал сильную, глубокую ненависть и вражду, с ними он не прочь был в любой момент разделаться. Но особенно беспощаден был Хома по отношению ренегатов, чем и об'ясняется принятое им первым в то время решение покончить с Гориновичем, когда тот подвернулся ему под руку, что, как известно, привело его и еще двоих к виселице.

При нашем знакомстве ему шел только двадцатый год, но он также выглядел старше своих лет. Он целиком был человеком дела, к тому же самого решительного, отважного, на котором можно было бы сложить свою голову. Его,

поэтому, чрезвычайно тяготили всегда неизбежные в революционных предприятиях отсрочки, выжидания. Как почти ни у кого другого из членов этого кружка, слово всегда шло у Хомы рядом с делом: он не допускал ни малейших соображений с обстоятельствами, компромиссов. Это был тип непреклонного революционера, террориста, жаждущего геройских подвигов.

Многими чертами своего характера Малинка очень походил на описанного Герценом юношу Бахметьева, оставившего у него значительную сумму денег и затем отправившегося на Принцевы острова проповедывать социализм туземным дикарям-людоедам [1]). Из выдвинувшихся потом русских революционеров Малинку очень напоминал известный народоволец Баранников, о котором мне также придется ниже сообщить свои впечатления. Доживи Малинка до времени господства у нас террористической борьбы, он, вероятно, явился бы одним из наиболее стойких ее адептов.

Мне трудно дать характеристики всех остальных членов первого бунтарского кружка в России. Вследствие чрезвычайной конспиративности, господствовавшей тогда среди революционеров, почти невозможно было сколько-нибудь близко узнавать друг друга, особенно некоторых товарищей. Поэтому, при кратких, далеко неполных описаниях погибших или давно затерявшихся старых товарищей, какими неизбежно являются такие заметки, рискуешь невольно сделать какой-нибудь крупный промах, дать неверное представление или, в лучшем случае, сообщить только общие черты, которые присущи были многим участникам той эпохи.

---

[1]) См. «Былое и Думы», т. XII, изд. под ред. Лемке.

В вышеприведенных набросках я остановился на наиболее, как мне кажется, крупных и оригинальных членах этого кружка, к тому же на особенно сильно потом пострадавших за свою революционную деятельность, фамилии которых фигурировали в политических процессах. Но из этого, полагаю, вовсе не следует заключить, что не упомянутые мною члены нашего кружка не заслуживают внимания и что они были мало или вовсе неинтересными людьми. Нисколько. О некоторых из них у меня не только не сохранилось никаких биографических данных, но я не помню даже их настоящих фамилий. О других мне придется кое-что сказать ниже, в своем месте, а об одном сообщу сейчас, так как впоследствии он тоже попал «в историю», но крайне тяжелую, незавидную. Я имею в виду в свое время приобревшего печальную известность Федора Курицына, сильнейшим образом навредившего многим бывшим его товарищам и ставшего одним из самых вредных тогда ренегатов. Таким образом, на составе этого выдающегося кружка тоже подтверждалась верность пословицы — «в семье не без урода». Особенно печально, что, как сейчас увидим, совсем не труд-

но было заранее предсказать ненадежность этого члена и принять соответственные меры предосторожности.

Однажды ночью описываемой мною выше зимы 1875—1876 гг., когда в квартире, которую, как я сообщил, снимала Лидия Павловна Барышева, собрались многие бунтари, вдруг раздался резкий звонок.

«Жандармы!» — произнес кто-то. Все присутствовавшие спокойно остались на своих местах, за исключением одного, видимо, страшно испугавшегося, изменившегося в лице, пугливо озиравшегося и со словами «надо спрятаться» метавшегося по обеим комнатам, пока не подлез под диван. Как ни было напряженно состояние остальных, некоторые все же не могли удержаться от смеха. Тем комичнее стало положение этого труса, когда оказалось, что пришли не жандармы, а кто-то из своих же. Помню, что тогда же Маруся Ковалевская проявила большую прозорливость: «В случае ареста, — сказала она более близким товарищам, — Федька может всех выдать». Это был Курицын.

Не помню его родословной, — кажется, сын купца или мещанина, бывший студент Харьковского ветеринарного института, «Федька», попав какими-то судьбами в этот избранный кружок, решительно ни в ком из членов не приобрел к себе ни уважения, ни симпатий. Но не описанный только-что случай был этому причиной, — не помню даже, всем ли он был известен,

— а то от него отталкивало, что он казался неестественным, каким-то ходульным, напоминал провинциального, к тому же плохого, актера. Вдобавок, все находили его очень ограниченным, скучным, неприятным и мирились с ним только потому, что не было повода, основания удалить его, раз он уже попал в эту среду. Положительным его достоинством являлся только бывший у него недурной голос и знание многих оперных мотивов, но, как он сам впоследствии об'яснил в печати, хорошее его пение и погубило его. О нем мне также еще придется ниже рассказать.

X.

Давая характеристики участников бунтарского кружка, я по необходимости должен был часто забегать вперед, так как само собою, думаю, понятно, что то или иное мое представленне об этих лицах составилось у меня не сразу, не в первые недели моих с ними встреч, а лишь постепенно, много месяцев, а то и лет спустя. Я должен, поэтому, вернуться к началу моего рассказа, к первому времени моего знакомства с этими бунтарями.

Спустя пару-другую недель, у меня начали уже наклевываться кое-какие общественного характера планы и предприятия то с тем, то с другим из обитателей притона на Тарасовской улице. Поводом к первому по времени делу

послужил приезд в Киев Дмитрия Лизогуба, о чем он немедленно меня уведомил. Обязанный подпиской о невыезде из своего имения, он предпринял долгие хлопоты для получения разрешения ему покинуть на время крайне тяготившее его бесцельное сидение в глуши. Получив, наконец, таковое, он отправился в Петербург и на обратном пути завернул в Киев, чтобы повидаться со мною, Колодкевичем и другими товарищами.

Он первый тогда привез нам известие о происходивших в столице совещаниях по поводу неудач, постигших пропагандистов в народе, а также разразившихся во многих местах разгромах.

Слушая его рассказы, признаюсь, я не без внутреннего удовольствия убеждался, что не мне одному и не только членам кружка Фесенко не повезло в народе, а что почти полная безрезультатность пропаганды социализма крестьянам была, повидимому, общим явлением.

В свою очередь, и Лизогуб с видимым интересом выслушал от меня подобное же повествование о моих похождениях и, насколько могу теперь припомнить, кажется, признал правильными сделанные мною выводы относительно молокан.

Заметно было, что и в его взглядах произошла значительная перемена: он также в сильной степени «полевел» и стал, повидимому, терпимо относиться к бакунистам. В виду этого, я решил познакомить его с Дебагорием-Мокриевичем и со Стефановичем, являвшимися, как мы знаем, лидерами описанного кружка. Делая ему это предложение, я, конечно, желал привлечь его, а, следовательно, и значительные денежные средства, которыми он располагал, — на сторону моих новых и казавшихся мне симпатичными знакомых.

Лизогуб охотно согласился на это предложение, и в условленный вечер я привел его на квартиру, которую снимала Барышева.

Теперь мне, конечно, трудно воспроизвести завязавшиеся переговоры между тогда очень популярными среди революционеров Мокриевичем со Стефановичем, с одной стороны, и Лизогубом — с другой. Помню только, что как он, так и они остались довольны друг другом. Но, так как главной целью этого знакомства для названных бунтарей было желание получить от Лизогуба материальную помощь на их предприятие, открывать которое постороннему человеку они считали невозможным, то мы сообща стали придумывать какой-нибудь допустимый план, на который он согласился бы дать средства. Однако, в тот приезд Лизогуба нам, кажется, ничего не удалось ему предложить. К тому же он, помнится, мне сообщил, что, будучи в Петербурге, сошелся с вернувшимся из ссылки тогда очень популярным Марком Андреевичем Натансоном, задавшимся, как известно, целью восстановить разрушенные общим разгромом ор-

ганизации, о чем подробнее сообщу в своем месте. На эту цель Лизогуб согласился отдавать все свои средства, по мере того, как они будут им получаться от арендаторов его земли.

Другое предприятие, которое вскоре затем обсуждал я с бунтарями, также обусловливалось участием в нем Лизогуба.

Когда, однажды, перед вечером я пришел в «притон», то, кажется, Вера Ивановна познакомила меня с приехавшим из Харькова юношей, оказавшимся небезызвестным впоследствии бывшим студентом Сергеем Ястрембским. Как и мне, ему шел тогда только 20-й год, но для своих лет он был довольно развит, начитан. Помню, что, знакомя нас, Вера Ивановна сказала мне: «Вот твой ровесник и, как и ты, любитель книг», что мне было приятно слышать, но что, как мы уже знаем, служило плохой рекомендацией для кандидата в бунтари...

Ястрембский оказался не только очень умным, но и чрезвычайно остроумным юношей, сыпавшим остроты, шутки и проч. С ним, поэтому, как я, так и некоторые из находившихся в то время в притоне бунтарей скоро сошлись. Чуть ли не в первый же день нашего с ним знакомства он сообщил нам о цели своего приезда к Киев.

Среди знакомых ему студентов Харьковского университета находился сын одной из самых аристократических и богатых местных семей, по фамилии Харин, проявлявший склонность к

социализму. Ястрембский стремился привлечь его к нашему движению, для чего считал полезным свести его с Лизогубом, который, как человек того же ранга, что и Харин, и сам все отдавший делу обездоленных, мог бы оказать наиболее благотворное влияние на еще не сложившегося юношу.

План этот нам очень понравился, и я охотно взял на себя заботу об устройстве сперва свидания Ястрембского с Лизогубом и затем последнего с Хариным. Но теперь не помню, удалось ли это. Кажется, обстоятельства так сложились, что не потребовалось вмешательство Лизогуба, так как Харин вскоре затем сам примкнул к движению.

Но особенно сблизило меня с обитателями притона дело устройства побега из тюрьмы студента Семена Лурье.

Выше я уже сообщил, что П. Б. Аксельрод имел огромное влияние на своих сверстников. В числе последних был единственный сын довольно зажиточного купца — С. Лурье. Очень способный юноша, любознательный, педантически аккуратный, он, казалось, менее кого-либо другого мог увлечься социалистическими идеями. Между тем, когда поднялась волна хождения в народ, она захлестнула и его. Правда, он в народ не отправился, но взял на себя чрезвычайно опасную функцию — заведующего справочным бюро, т.-е. у него хранились адреса лиц, ушедших в народ,

и через него вели они переписку и сношения. Поэтому, при малейшей неосторожности кого-либо из них, Семену Лурье угрожала опасность очутиться в тюрьме, что вскоре, действительно, и случилось: где-то при обыске был взят его адрес, и его арестовали.

То был первый арест в Киеве социалиста, который, поэтому, нагнал на многих сильнейшую панику: стали сжигать самого невинного содержания письма, документы, книги, боялись поддерживать знакомства со сколько-нибудь «неблагонадежными лицами». Друг другу передавали всевозможные ужасы по поводу, будто бы, применяющихся к арестованным политическим страшных мер, чуть не пыток. Между тем, в действительности было совсем не так, по крайней мере относительно режима, которому подвергли Семена Лурье.

В течение долгого времени его содержали в одиночной камере при полицейском участке. Но до чего, в противоположность вышеуказанным легендам о страшных мерах, применявшихся будто бы к заключенным, обращение с ним было, наоборот, патриархальным, — по крайней мере на первых порах, — доказательством отчасти может служить тот факт, что буквально за двугривенный удавалось не только все решительно передавать арестованному, но можно было также и иметь с ним ежедневно продолжительные свидания. Я сам неоднократно отправлялся по вечерам в Старокиевский участок, где

содержался С. Лурье, беспрепятственно приходил на тот корридор, где была его камера, всовывал двугривенный дежурному городовому и затем беспрепятственно беседовал с заключенным, стоя у дверного окошечка.

В виду столь легкого режима мы, товарищи С. Лурье, уговаривали его бежать, обещая ему в этом наше содействие. Но в течении очень долгого времени он, по разным причинам, не соглашался. Когда же после годичного заключения у него начался легочный процесс, он, наконец, согласился.

Главной задержкой в осуществлении этого плана являлась трудность, в виду господствовавшей в городе среди либералов паники, найти подходящее безопасное убежище, где после побега мог бы укрыться Лурье. В это именно время я совершенно случайно нашел «сочувствовавшего», оказавшего нам содействие, в лице такого человека, на которого, казалось, меньше всего можно было расчитывать.

Это был простой, малообразованный еврей, лет 24—25, на вид невзрачный, плохо одевавшийся, занимавшийся исполнением разных поручений. При этих внешних чертах Соломон, — как все знакомые его называли, — являлся на редкость честным, добрым и альтруистичным человеком. Он всегда рад был оказать, какое было в его силах, содействие каждому, проявляя при этом полнейшее бескорыстие. Более того: Соломон, не ожидая обращения к нему, по собствен-

ной инициативе приходил на помощь нуждавшимся в чем-либо, выполнение чего было для него возможно.

Благодаря этим свойствам, Соломон приобрел обширный круг знакомых, как среди евреев, так и христиан, между людьми состоятельными и, наоборот, лишенными материальных средств. Но все решительно его знакомые быстро проникались беспредельным расположением и доверием к этому человеку [1]).

После того, как Соломон мне также оказал ряд мелких услуг, что меня убедило в возможности довериться ему, я спросил его, не знает ли он вполне безопасное место, где в течение некоторого времени мог бы укрыться один мой знакомый, — по конспиративным соображениям я не вправе был открывать ему всю правду.

Оказалось, что у невзрачного на вид, неряшливо одетого еврея имелся такой зажиточный знакомый, занимавший прекрасную квартиру, который в то время господства всеобщей паники охотно согласился приютить «нелегального», за что он подвергался риску, в случае провала, угодить в Сибирь, а то и на каторгу.

Не буду сообщать здесь, как поизошел побег С. Лурье, — об этом я подробно рассказал в очерке, озаглавленном «Четыре побега» [2]). Приведу наиболее лишь существенное, касавшееся меня и имевшее то или иное влияние на революционное движение той эпохи.

[1]) В другом месте, в „Встречах", я посвящу этому удивительному идеалисту отдельный очерк.

[2]) См. Сборник «Знание» 21-й; также появилась в Берлине отдельная книжка под этим же заглавием.

Так как я, не имея на то разрешения, к тому же в штатском платье был на свидании, предшествовавшем побегу С. Лурье, о чем вскоре узнал барон Гейкинг, то им произведен был у меня в ту же ночь, в моем отсутствии, обыск. Опасаясь, поэтому, быть арестованным и, как военно-служащий, подвергнуться за содействие в побеге политического тяжелой ответственности, я решил посоветоваться с бунтарями, что мне предпринять.

Они приняли живейшее участие в обсуждении моего положения и, взвесив все обстоятельства, предложили мне остаться у них в притоне, пока не узнаем, какое направление даст Гейкинг делу побега Лурье. Собственный интерес должен был побудить барона, по возможности, замять это неприятное для него происшествие, потому что без всевозможных льгот, поблажек и упущений, которые он делал для Лурье, последний не смог бы совершить побега.

Соображение это вскоре оказалось правильным, но пока мы в этом убедились, прошло пять-шесть дней.

Вспоминая теперь, по прошествии более сорока семи лет, эти несколько дней, проведенные мною в кругу уже описанных выше бунтарей, я нахожу, что это был один из лучших, из

наиболее приятных моментов в моем революционном прошлом, как известно, не лишенном интересных встреч и разных происшествий. Уже и до того казавшиеся мне чрезвычайно симпатичными обитатели притона на Тарасовской улице во время моей совместной с ними жизни представились мне еще лучшими и стали мне еще милее, еще дороже.

Большее радушие и внимание, чем проявленное этими заслуженными и уже пользовавшимися некоторой известностью революционерами, по отношению еще ровно ничего не сделавшего юнца, каким я тогда являлся, едва ли было возможно встретить в другом кружке, даже в описываемое время, когда между участниками тогдашнего движения, вообще, господствовали самые теплые братские отношения.

В особенности сблизился я за эти дни со Стефановичем и с Верой Засулич: мы были неразлучны, все время проводили вместе где-нибудь в стороне от остальных, предаваясь тихим беседам и обсуждениям разных спорных революционных вопросов. Многое, поэтому, тогда выяснилось для меня. Постараюсь, насколько это возможно, воспроизвести здесь все узнанное мною в те дни, — это тем более важно, что в современной печати мало, если не сказать, — вовсе не затрагиваются вопросы, волновавшие революционеров в то отдаленное время.

XI.

Как известно, революционные деятели первой половины семидесятых годов на севере и в течение всего этого десятилетия — на юге, по принципу, из конспиративных соображений, на случай провала решительно воздерживались от всяких изложений на бумаге не только своих планов и организационных уставов, но даже общих, теоретических программ: со всем этим, — с задачами, стремлениями, взглядами все неофиты знакомились, главным образом, путем бесед, из устных сообщений более старых деятелей, и лишь кое-что в этом отношении они могли вычитать из тогдашних подпольных, запретных, заграничных сочинений эмигрантов разных толков и направлений.

То же со мною, как и со всеми другими юными адептами, произошло.

До моей встречи с бунтарями я об их воззрениях знал отчасти из указанной литературы, но еще больше того из изложений противников бакунизма — д-ра Эммэ. Фесенко и др. Как бы об'ективны ни были эти лица, их отношение к неприятным им взглядам не могло не быть односторонним, а, следовательно, неправильным. Только из многочисленных бесед с самими бунтарями я впервые почерпнул верное представление об их воззрениях и стремлениях. В чем же те и другие состояли?

Как я уже сообщил в одной из первых глав, про-

тивники бакунистов резко опровергали их взгляд на русский народ, как на будто бы чрезвычайно революционный, всегда, мол, готовый к бунтам. Но, если раньше, в начале семидесятых годов, последователи Бакунина целиком разделяли этот взгляд, то ко времени моего с ними знакомства они в значительной степени от него отказались, внесли в него некоторые коррективы. Достаточным оказалось даже столь поверхностное знакомство с настроением наших крестьян, какое бакунисты могли приобрести путем летучих посещений деревень в период хождения в народ, чтобы разочароваться в чрезвычайной его революционности. Но, — утешали они себя, — «как путем упражнения развиваются силы и способности отдельного организма, так и весь народ подготовляется к революции только путем упражнения своих революционных чувств и способностей» [1]).

Логическим выводом из этой теории являлась необходимость всюду, где только представится малейшая возможность, стремиться «вызвать бунт». Не беда, если он будет подавлен, — на этот счет у них было оправдание, а также и сильная поддержка со стороны такого авторитета, каким в глазах многих тогда являлся Бакунин, который говорил: «Мы должны беспрестанно делать попытки восстания. Пусть нас разобьют один, два, наконец, десять, двадцать

[1]) См. «Воспоминания» Дебагория-Мокриевича. стр. 127.

раз, но если на двадцать первый народ поддержит, и восстание сделается всеобщим, — жертвы окупятся» [1]). Словом, бунт, по взгляду Бакунина и его последователей, являлся школой, которую русский народ, — как, впрочем, и некоторые другие, преимущественно же романские народы, должен обязательно пройти чтобы приобрести способности, необходимые для совершения победоносной революции. Но эта теория являлась бы мало утешительной, если бы нужно было ждать, пока школу бунтов пройдет весь русский народ. Утешением служило исходившее от самого Бакунина заверение, что, стоит только оказаться успешным народному восстанию в каком-нибудь месте, как оно, подобно искре, воспламенит весь народ.

Кроме указанного взгляда на роль бунтов, последователи Бакунина расходились с лавристами, как отчасти я уже сообщал выше, еще по целому ряду вопросов.

Так, между прочим, бунтари считали для себя обязательным при малейшем риске быть арестованными немедленно переходить на нелегальное положение, но ими считалось недопустимым, чуть не преступным и позорным навсегда эмигрировать, — разрешалось лишь на короткое время уезжать за границу, чтобы «замести следы».

[1]) Т. ж. стр. 97.

Далее, в случае обыска бунтарь обязан был оказать явившейся полиции самое энергичное сопротивление, открыв пальбу из револьвера, который всегда заряженным он должен был иметь при себе.

Мотивировались эти вооруженные сопротивления бакунистами, как необходимые акты самозащиты, чтобы не сдаваться, как бараны. К этому отчаянному решению склонили последователей Бакунина, кроме общего их мировоззрения, отчасти также чрезвычайная смертность и большой процент заболевших, сошедших с ума и окончивших самоубийствами из числа лиц, арестованных вследствие погромов 1874—75 гг.[1]). «Раз нам все одно суждено, после ареста, погибнуть, так за-одно захватим с собою одного-другого жандарма», — говорили бакунисты.

Вместе с тем, уцелевшие на воле товарищи должны были стараться, по мере их сил, охранять честь и достоинство арестованных путем мести разным должностным лицам за жестокое обращение с заключенными. Первоначально все этого рода акты назывались «самозащитой»; впоследствии, после убийства ген. Мезенцова, их стали называть «террором». В акты же самозащиты вхо-

[1]) Из числа привлеченных по проц. 193-х лиц, за время предварительного их заключения, умерло 43, окончили самоубийством—12, сошло с ума—33 чел. В этот перечень не вошли заболевшие неизлечимыми болезнями, покушавшиеся на самоубийства и др.

дили также стремления, по возможности, оказывать содействие в побегах из мест заключений наиболее скомпрометированным революционерам.

Против верности и правильности вышеприведенных воззрений бунтарей я, конечно, ничего не мог возразить, так как и сам, еще до встречи с ними, додумался до многого из того, что услыхал от них. Поэтому, я уже готов был предложить им себя в сочлены, но неожиданно для себя вынужден был расстаться с ними на довольно продолжительное время.

Когда мы убедились, что барон Гейкинг стремится замять дело о побеге Лурье, я решил вернуться на службу, предполагая, что за самовольную отлучку в течение 5—6 дней меня могут подвергнуть только дисциплинарному наказанию. Вышло, однако, хуже: начальник дивизии, ген. Ванновский, впоследствии ставший небезызвестным министром, после личного допроса меня по поводу этой моей отлучки, отдал распоряжение о предании меня военному суду. К этому «преступлению», уже находясь под арестом, я присоединил еще другое — оскорбление дежурного офицера. Мне, поэтому, грозило заключение в крепость года на 1½—2.

Пребывание под арестом также в немалой степени посодействовало моему еще более тесному сближению с бунтарями, особенно с уже не раз названными мною — Я. Стефановичем и В. Засулич. Как он, так и она поддерживали со

мною сношения путем нелегальной переписки; они снабжали меня всем необходимым, а, главное, содействовали задуманному мною побегу, который, отчасти благодаря им обоим, в особенности же Я. Стефановичу, мне и удалось осуществить (19 февраля 1876 г.).

Таким образом, перейдя в ряды «нелегальных» и имея за собою уже такую «заслугу», как побег, я приобрел и фактическое право быть занесенным в ряды бунтарей.

Оглавление.

Издательство „Грани“ в Берлине
Bücherverlag „Grani“ G.m.b.H. Berlin

Того же автора:

Печатается:

Роль евреев в русском революционном движении

Том первый.

Готовится к печати:

За полвека. Том второй.